



«Терпения и мужества, друзья»

Фазиль
Искандер



СОФИЧКА

Повести

Коллекция классики

Фазиль Искандер

Софичка

«ЭКСМО»

1997, 1973, 1990

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Искандер Ф. А.

Софичка / Ф. А. Искандер — «Эксмо», 1997, 1973,
1990 — (Коллекция классики)

ISBN 978-5-04-117129-2

«Софичка» – повесть о подлинности чувств, верности и чести как основах бытия и предательстве как пути искажения личности. Перед вами история любви с первого взгляда. Главные герои, прощая зло и нарушая данное любимому обещание, теряют жизненную силу, которая позволяла им дарить свою неисчерпаемую любовь и душевную щедрость окружающим. В книгу включена новелла «Тали – чудо из Чегема» из романа «Сандро из Чегема», а также повесть-размышление «Стоянка человека», открывающие разные грани таланта Фазиля Искандера, одного из самых мудрых художников XX века.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-117129-2

© Искандер Ф. А., 1997, 1973, 1990
© Эксмо, 1997, 1973, 1990

Содержание

В. Вигилянский	6
Д. Быков	9
Софичка	15
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Фазиль Абдулович Искандер
Софичка
Повести

© Искандер Ф.А., наследник, 2021
© Быков Д.Л., вступительное слово, 2020
© Вигилянский В.В., вступительное слово, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

В. Вигилянский

Плач по Адаму, изгнанному из рая: круги христианских размышлений Фазиля Искандера

В начале 2000-х Фазиль Искандер неожиданно позвал меня на книжную ярмарку на ВДНХ, где должно было происходить представление одного из его собраний сочинений.

Он очень дружил с моей мамой, писательницей Инной Варламовой, в 1970-е годы в нашей квартире много раз устраивал публичные чтения своей прозы и просто забегал к ней многожды раз на неделе по разным поводам – ведь мы были соседями. Именно в те годы я написал о его творчестве статью, она даже вышла в каком-то коллективном сборнике о современной прозе.

Уверен, что эти публичные (квартирные) чтения нужны были Искандеру для того, чтобы устроить экзамен своему письменному тексту: понять, насколько точны его интонации, насколько визуализация образа, к которой он очень тяготел, соответствует словесному описанию. Эта перекрёстная проверка своих текстов – на ухо и на глаз – таит в себе секрет точности его слова. Измени ракурс – и узнаешь, будет ли твоё слово точным или приблизительным, фальшивым.

Многие помнят определение чувства юмора, данное Искандером: «Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путём, и будет настоящим юмором».

Так вот, поисками «следа», который оставляет писательское слово, он и занимался всю свою жизнь, в итоге обогатив русскую прозу уникальной интонацией и самобытным языком, которые невозможно симитировать и спутать с каким-то другим писателем.

Когда была создана моя семья, выяснилось, что мою жену Олесю Фазиль Абдулович знал чуть ли не с младенчества. Когда-то он писал предисловие к её поэтической подборке в журнале и вообще толкал её, поэта, писать ещё и прозу – он услышал её устные истории, над которыми очень смеялся, и признал в ней замечательную рассказчицу (надеюсь, Олеся напишет об этом подробнее).

Но тут, уже в 2000-е, я, священник, должен был кратко представлять перед непрофессиональной публикой его многотомное издание. Я был смущён не только оказанной мне честью, но тем, что моё слово о любимом писателе должно было быть, хочешь не хочешь, «священническим» словом.

Сказал я примерно следующее. Передаю в сокращённом виде.

Вся классическая культура (живопись, музыка, литература) – это про то, как изгнанный из Рая Адам ищет свой путь назад в Райские обители. Писатель Искандер – это трудолюбивый и искуснейший ученик этой традиции. Он точно знает, что в созданной Богом реальности есть отсвет утерянной Божественной гармонии. И он находит её отблески здесь, в этом мире. Его персонажи – дети и старики, абхазские крестьяне и городские молодые люди – это те, кто населяет эту преображённую Вселенную. Искандер точно знает, что, изучая всеобъемлющий мир, не обязательно совершать кругосветное путешествие – достаточно посмотреть вокруг себя, и ты найдёшь здесь всё: и адские глубины, и райскую высоту.

В доказательство моей мысли процитирую важные слова Фазиля Искандера:

«Вся серьёзная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарий этому никогда не будет конца. Все псевдоноваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло,

обречены на провал и забвение, ибо дело художника вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души».

Мировоззрение Искандера очень тесно связано с его религиозными взглядами. Ими пронизана вся его проза и его философские трактаты. Уверен, что это станет важной темой исследователей его творчества.

Прислушаемся к великому писателю и мудрому христианину.

* * *

«Если жизнь представляется невозможной, есть более мужественное решение, чем уход из жизни. Человек должен сказать себе: если жизнь действительно невозможна, то она остановится сама. А если она не останавливается, значит, надо перетерпеть боль.

Так суждено. Каждый, перетерпевший большую боль, знает, с какой изумительной свежестью после этого ему раскрывается жизнь. Это дар самой жизни за верность ей, а может быть, даже одобрительный кивок Бога».

* * *

«Верующий человек, как бы он ни был одарён, гораздо менее, чем неверующий, склонен самоутверждаться среди других людей. Его честолюбие направлено всегда по вертикали и всегда ограничено любящим признанием невозможности сравняться с Учителем. Он вечно тянется вверх, заранее зная, что нельзя дотянуться. И самим настроем своей натуры он не может стремиться к коренным, внезапным изменениям в жизни человеческого рода, поскольку не может и не хочет заменять собой Учителя.

Наоборот, неверующий и честолюбивый человек, не имея этого высокого ориентира над собой, чаще сравнивает себя с живущими рядом людьми и, замечая своё превосходство, постоянно укрепляется в нём».

* * *

«Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чём же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех».

* * *

«Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один учёный не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен».

* * *

«Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия».

* * *

«Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром помнить об этом. Мир рушится там, где эта связь разомкнулась, где сделавший добро назойливо памятлив, а согретый добром впадает в беспмятство.

Мир, в котором ты видел хотя бы одного человека, всю жизнь благодарно помнившего о сделанном добре, даже тогда, когда сделавший добро начисто забыл о нём, да и сам сгинул, отдав своё лёгкое тело вечной мерзлоте, этот мир ещё не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить и быть человеком».

В. В. Вигилянский

Д. Быков

Господи, мы у костра

1

В великие писатели Искандер вышел деликатно, незаметно для других и для себя. Что скрывать, литература народов СССР в массе своей была этнографична, писателей бесстыдно преувеличивали ради новых доказательств торжества ленинской национальной политики, и хотя это все равно было куда лучше нынешнего отката в Средневековье – забота России о национальных культурах принимала подчас гротескные формы. Были великие Василь Быков, Владимир Короткевич, Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Кайсын Кулиев – но была и априорная, не вполне беспочвенная подозрительность со стороны читателя: текст, написанный республиканским уроженцем на республиканском же материале, имел серьезные шансы оказаться плохим. И даже когда Искандер, начинавший как поэт, перешел на прозу и опубликовал перво-классные вещи – сначала сатирическое «Созвездие Козлотура», потом уже вполне серьезного «Морского скорпиона», – даже когда в самиздате появились неопубликованные главы «Сандро», а первый, вдобавок ополовиненный цензурой вариант его вышел в 1973 году в «Новом мире», его готовы были рассматривать как исключительно одаренного автора, но не в одном же ряду с Солженицыным или Трифоновым! Масштаб его первым понял Юрий Домбровский, писатель не только величайшего таланта, но и столь редко соединяющегося с ним критического чутья: он поставил на Искандера, многим сказав, что это главная надежда русской прозы. Вероятно, залогом этой высокой оценки была столь ценимая Домбровским – и столь присущая ему самому – полифония, скрещение интонаций, переплетение тем: в монохромной советской литературе Искандер настаивал на обязательном присутствии трагического в любом фарсе, на комической ноте в самом драматичном сюжете. Эта дополнительная подсветка – плюс непрерывное сочетание сатиры и лирики, заметное уже в его ранних балладах, – сразу выделила Искандера из блестящего ряда сверстников.

В шестидесятники он не попал – не столько по возрасту (год рождения подходящий, 1929), сколько по особому устройству мировоззрения. Ни к шестидесятнической эйфории, ни к шестидесятническому же отчаянию после 1968 года он не был склонен, потому что самое устройство его психики иное: Искандер основателен, он сангвиник, а не холерик, и впадать в беспричинный восторг для него так же противоестественно, как отчаиваться. Он кое-что повидал, за плечами у него огромный опыт народа, который видал еще и не такое, – как всякий человек традиции, он чувствует опору более надежную, чем политическая конъюнктура или личное везение. Народ – особенно малый, с богатым и трудным опытом выживания, особенно кавказский, с традицией сдержанности и этикета, – относится к современности спокойней, без иллюзий; внешние обстоятельства мало трогают тех, кто за всю вечность не слишком изменился и мерками этой вечности меряет все. И потому время Искандера наступило по-настоящему не в шестидесятые, а в семидесятые, когда были востребованы совсем иные качества, которых, собственно, он и пожелал читателю в финале лучшего, кажется, своего рассказа (он вошел потом в повесть «Стоянка человека») – «Сердце»: «Терпения и мужества, друзья». Впрочем, ведь и Трифонов, и Аксенов, и Казаков (разумею немногочисленные, но прекрасные поздние рассказы) лучшее свое написали в тех же семидесятых, когда многое виделось лучше, трезвей, точней.

Подлинный же масштаб Искандера стал ясен во второй половине восьмидесятых, и связано это было не столько с полной публикацией трехтомного «Сандро», сколько с возвраще-

нием России в мировой контекст. В силу разных обстоятельств она из него выпала почти на сто лет: дело было не в железном занавесе – сквозь него многое пробивалось, – но в специфике советской жизни, вызывающе непохожей на прочую. У советских были свои проблемы, мало понятные за границей, – нам же казались надуманными роковые вопросы, терзавшие европейцев, американцев, латиноамериканцев... Только в восьмидесятых вдруг оказалось, что и России – тогда еще СССР – предстоит столкнуться с главным вопросом XX века, а именно с противостоянием модерна и архаики, с возможностью (или невозможностью) сосуществования архаических и христианских культур, с вечным антагонизмом Востока и Запада. У нас все это либо принимало специфические формы, либо отсутствовало вовсе – поскольку СССР поставил вне закона национализм и упразднил религию, оставив ей чисто представительские функции. В восьмидесятые на нас лавиной обрушились проблемы, над которыми Запад бился в последнее столетие, – и главной из этих проблем оказалась пресловутая несовместимость христианства и варварства, а также неистребимое противостояние Востока и Запада. Оказалось, что «с места они не сойдут» даже в эпоху глобализации; что до конца истории еще куда как далеко; что после развала и краха СССР Запад лицом к лицу оказался с варварством куда менее цивилизованным и более опасным – и 11 сентября 2001 года доказало это окончательно. Впору было закручиниться по империи зла, противной, нет слов, но предсказуемой и вдобавок дряхлой.

Архаика, в общем, хорошая вещь – в том смысле, что для архаического характера священно понятие чести, незыблема внутриклановая (родственная, земляческая) солидарность, сказанное слово весит не меньше, чем сделанное дело... О неизбежности поголовного увлечения архаикой в поисках новой серьезности говорил незадолго до смерти Илья Кормильцев – и оказался прав: разочаровавшись в западной цивилизации, которую лишь весьма условно можно сегодня назвать христианской, интеллектуалы еще в конце шестидесятых обратились к Востоку в поисках ответов. Отсюда почти поголовное полевание западной профессуры, сочувствующей палестинцам больше, чем израильтянам; отсюда любопытство к Африке, мода на латиноамериканскую прозу, на дзен, на Индию и Китай, на возврат к природе, прочь от растленной цивилизации... Все это было очень мило – и, может быть, неизбежно; но нельзя не увидеть в этом отката назад. Парадокс заключается в том, что Маркес, который на пике этой моды и сделался нобелевским лауреатом (1982), как раз доказывает обреченность той самой архаики, пагубность изоляции, замкнутости, циклического развития – об этом не только «Сто лет одиночества» с их великой и пророческой последней фразой, но и «Осень патриарха» с той же ненавистью к бесконечному, вязкому времени. С Маркесом, кстати, вышло интересно: они оба с Искандером родились 6 марта, с разницей в год. Однажды Искандеру прислали рецензию на переведенную в Штатах книгу повестей. Чтобы прочесть ее лично, он титаническим усилием вспомнил изученный когда-то английский – «Но результат того стоил», усмехался он в интервью. В рецензии было написано: «Всюду слышим: Гарсиа Маркес, Гарсиа Маркес... Между тем Фазиль Искандер не хуже, а в лучших своих сочинениях значительно превосходит его».

Так оказалось, что всю свою жизнь Искандер пишет, в общем, на главную тему последнего столетия человеческой истории; главное противостояние – не между капитализмом и коммунизмом, которые обречены конвергировать и во всяком случае договороспособны, а между двумя типами цивилизаций. Искандер первым в XX веке вдумчиво и глубоко описал кавказский характер и попытался нащупать его перспективы. Он показал и его силу, и его слабость, и тенденцию к вырождению, и шансы избежать этого вырождения. Главное же – он нащупал возможность компромисса, некоей общей для почвенников и западников святыни. Это – идея дома, одинаково важная и для Востока, и для Запада. Дому как оплоту морали, совести, чести посвящена последняя крупная проза Искандера, «Софичка». Вероятно, в современной русской литературе мало найдется текстов, над которыми плачешь, – но финал, в котором Нури в кухне Большого дома смотрит на кривотрубные пароходы, нарисованные им в детстве на стене, без

слез читать не сможет и самый сдержанный читатель. Помнится, я спросил однажды Искандера: ведь это выдумать нельзя, скажите, вам рассказал кто-то? «Нет, корабли выдумал».

Это в «Софичке», самой поздней и, вероятно, лучшей своей повести, написанной с той простотой и стремительностью рассказа, какие встречались разве у позднего Толстого да в Библии, – Искандер спел гимн огню, очагу, идее дома:

«Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды, а потом по той же причине и стены, а потом человек назвал домом место, где его костер защищен со всех сторон, и сам он защищен в том месте, где защищен костер. Идея дома – костер. Хозяин идеи – костер. Путем не слишком долгих манипуляций в историческом плане цивилизация незаметно изгнала из дома костер. Хозяина дома изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра.

Что же сейчас собирает семью и близких семье людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор. Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф? Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя.

И потому так радуется нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печеной картошкой, с ухой или шашлыком! Да и без всякой еды радуется нас вечно молодое, веселое пламя, мы тянем к его струям руки и, может быть, сами того не осознавая, молимся:

– Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!»

Не знаю, было ли в русской прозе что лучше за последние двадцать лет. Разве что рассказ того же Искандера «Гусеницы», тоже поздний, о том, как перед самой войной 1994 года в Абхазии появилось страшно много гусениц, словно природа с ума сошла, – а скоро и люди начали сходить с ума, и молодой герой рассказа погиб, исчез бесследно.

Дом – синтез долга и милосердия, доброты и закона, компромисс для самых непримиримых. И эту идею дома, объединяющего всех, – одинаково святую для кавказцев и русских – Искандер внес в русскую литературу, яростно отстаивая то самое право на дом, которое советская власть подвергла наиболее радикальному сомнению. Дом был объявлен предрассудком, рассадником мещанского быта, население распахали по общежитиям, гоняли по командировкам, по целинным землям, поэтизировали дух скитальчества, охоту к перемене мест – в то время как человек жив идеей дома, который в прозе Искандера всегда символизирует мораль, твердую и прочную основу бытия. Искандер все отлично понимает про родной ему кавказский характер, про изнанку архаики, про ее повышенное внимание ко всему имманентному и врожденному, про ее заикленность на ритуалах – и потому предлагает усвоить лучшее, что есть в архаической культуре: понятия долга и чести. Он больше, чем кто бы то ни было, сделал для того, чтобы одомашнить эти суровые понятия, привить их читателю в самом обаятельном варианте – через идею очага, семьи, родства. Свойствен Искандеру и культ жеста – «мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, постепенно восстановлен во всей его полноте». Разумеется, эта склонность к жесту приводит иногда и к демонстративности, и в кавказском характере ее хватает, – но без этой склонности нет эстетики. Искандер – мастер речевого жеста, точной фразы, афоризма, убийственной реплики; в прозе его, на первый взгляд многословной, с ее намеренными ритмическими повторами, витиеватыми описаниями и подробно-ироническими разъяснениями мелочей, без которых консервативный характер немыслим, – на каждом шагу встречаются мгновенные уколы точности, эти внезап-

ные поэтические формулы, чеканные и незабываемые. Взять хоть из той же «Софички»: «В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности».

2

Иные скажут: чтобы так чувствовать русский язык и выдавать порой столь внезапные формулировки – нужно знать его, как родной, и все-таки быть немного чужаком. Может быть, Искандер и впрямь лучше чувствует возможности русского языка потому, что, хоть и знал его с детства, рос в двуязычной – даже и трехязычной, считая грузинский, – пестрой среде. Во всяком случае мелодика его прозы – кавказская, замедленная, нарочито вязкая; его слог, стремительный в описании перепалок, драк, погонь, – словно засахаривается, когда дело доходит до тостов, пейзажей, воспоминаний детства или неспешно-сладостных рассуждений о вечном.

Как хотите – мало что в русской литературе сравнится с одиннадцатой главой «Сандро». «Тали – чудо Чегема» – это ведь еще и чудо искандеровской прозы, спокойной, уверенной, сильной, как старый Хабуг и его мул, но при этом воздушной и страстной. Тот эпизод, где Тали ждет первого свидания, то отступление, когда автору среди горного леса, среди цветущей природы привиделся Бог, – проза поистине симфонического звучания; не зря Искандер высказал однажды крамольную, но абсолютно точную мысль о том, что истинная вера сродни музыкальному слуху и от морали никак не зависит.

«В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому в конце концов ошибочным представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.

Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо, не срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит.

А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:

– Как?! И это все?!

– Да нет, я еще пока не уйду, – как бы говорит на этот случай его походка, – я еще внесу немало усовершенствований...»

Как божественно свободен, как счастлив был Искандер, когда писал это! Как передается это читателю! Какое сочетание силы и слабости, неуверенности и творческого восторга прошивает насквозь и этот фрагмент, и все его лучшие страницы! Интеллигентная походка творца – чего лучше, какой еще автохарактеристики желать?

3

Искандер не очень любит давать интервью, ибо, как уже сказано, понимает вес слова. Над бумажным листом можно думать долго, в разговоре приходится реагировать быстро. Однако сейчас, по случаю восьмидесятилетия, ему пришлось разговориться; в гости к нему, с разницей в один день, явились мы с Игорем Свиаренко. Оба мы, встретившись потом, поразились искандеровской форме: 80 лет – а у него разве что чуть замедлилась речь, и всегда не слишком торопливая. Но образы, но память, но мгновенно рождающиеся формулы, но бесстрашие перед лицом возраста и обстоятельств! Вот что значит на протяжении многих лет давать голове работу: тренированный мощный мозг не желает считаться ни с возрастом, ни с грузом неиз-

бежных тревог и разочарований. Искандер сказал много исключительно дельных вещей, но поразили меня две.

Я спросил, отчего большинство русских сатириков и юмористов – южане: Гоголь, Чехов, Аверченко, Зощенко (родился в Петербурге, но корни полтавские), Ильф и Петров, Катаев, Жванецкий, Данелия, сам Искандер?

– Черт, забавный вопрос, мне в самом деле его никогда не задавали – будем рассуждать. Полагаю, главная причина – некоторый шок южанина, попадающего в Россию: шок от почти всеобщей недоброжелательности. Жесткость, угрюмость... Заметьте, это ведь все были люди из тесных и дружественных общин: все в Полтаве и Одессе знали друг друга, не говоря про Чегем. При этом Одесса или Тбилиси – отнюдь не провинция, большие города, но отчего-то на встречного не смотрят как на врага. И вот эти люди попадали в холодные русские столицы, и единственным способом смягчить их суровость представлялся им юмор – поначалу мягкий, как «Вечера на хуторе», потом все более горький... Видимо, другого способа смягчить русскую жизнь у южан попросту не было: они – вынужденные юмористы. Потом, чуть попривыкнув, многие от юмора отходили – как Гоголь, подавшийся в моралисты.

– Откуда в России эта угрюмость?

– Полагаю, от двух причин: во-первых, не будем недооценивать климат. На большей части России он суров, обе столицы пасмурны, ветер и мороз не располагают к доброжелательству. Во-вторых, рабство: без крепостного права Россия жила пятьдесят лет. В СССР господствовал классовый подход, но существует один класс, до определения которого не додумывался никакой Маркс. Этот класс – чернь, и главная его особенность та, что в обычное время его не видно. В кризисные, переломные времена он выходит наружу, и тогда оказывается, что черни очень много. Переворот семнадцатого был классической революцией черни – рабов, для которых оптимальным состоянием является рабское, по полной их неспособности ни к какой деятельности, кроме доноительства и угнетения. Этот класс и сегодня влиятелен. Вот чернь – она и есть главный источник недоброжелательства: она ненавидит всех, кто выше, и презирает всех, кто ниже. А просто улыбнуться встречному – это для нее непредставимо.

Свинаренко – вероятно, лучший интервьюер нашего времени – спросил не без подковырки: вас в последнее время часто называют мудрым. В чем, на ваш взгляд, разница между мудростью и умом?

Ответ Искандера был стремителен и блестящ.

– Умный, – сказал он, закуривая, – знает, как устроена жизнь. Мудрый же умудряется не раствориться в этом, то есть жить, мыслить и действовать вопреки этому знанию.

Лучшей формулы его литературного и человеческого успеха не придумаешь. Искандер не просто умен – то есть не просто понимает механизмы мироустройства, – но способен сохраняться в этом потоке, не растворяясь в нем, и жить вопреки прагматическим законам. С точки зрения здравого смысла его самоосуществление и самосохранение – отдельное чудо; однако способность принимать всерьез только самые главные вещи, презрительно отмечая то, из-за чего сходит с ума большинство, выручала его многократно. Кстати, и фундаментальная проблема, над которой он бьется всю жизнь, – проблема соединения архаики и современности – вряд ли волновала большинство его современников, озабоченных то нехваткой свободы печати, то дефицитами, то политикой.

В 1979 году Искандер поучаствовал в «Метрополе» – двумя рассказами, ныне классическими; после разгрома альманаха у него рассыпали все книги, остановили все публикации и перестали приглашать на выступления. То есть он остался без средств к существованию, с женой и маленьким сыном на руках.

Он сдал квартиру и уехал жить на причитавшуюся ему писательскую дачу во Внукове – дачи, по счастью, не лишили. Дом был картонный, холодноватый даже для лета. Вдобавок Искандер начал слепнуть на один глаз – то ли от стресса, то ли от давления.

– И тут, – рассказывал он, хохоча заразительно и отдельно – ха! ха! – наступила полная беспечность. Я понял, что больше они у меня ничего не отберут и я совершенно свободен. Разве что посадят, но сажать они уже не хотели. Это вредило им самим. Было чувство, что достиг дна и можно оттолкнуться. Пожалуй, я никогда не был так весел, как в эти полгода.

(А что он делал в эти полгода? Писал «Кроликов и удавов», восхитительно беспечную вещь.)

4

Проза Искандера – одна из немногих опор русского читателя в современном мире, в котором все съехало с основ и держится на честном слове. Каждое слово Искандера – неизменно честное, веское и веселое – возвращает читателю чувство, что мир стоит на прочной опоре и никуда не денется, и усилия наши по-прежнему имеют смысл.

Всем его коллегам – в большинстве своем, конечно, младшим, когда Искандер вошел в патриаршеский возраст и проживал его достойно, с горским изяществом и стоицизмом, – гораздо легче становилось от мысли, что каждое утро он садится за свой письменный стол и записывает стихи, афоризмы, публицистику, а то и прозу, если повезет. В этом есть благотворная незыблемость, но дело не только в этом. Казалось бы, он сделал достаточно – и для признания, и для бессмертия. Из мировой литературы уже не вычеркнешь дядю Сандро, восхитительного болтуна, хитреца, лентяя и труженика, ловкача и воина, танцора и пахаря; и старый Хабуг, и Тали, и даже несчастный козлотур, не дающий потомства, но увековеченный в уморительной повести 1966 года, – все теперь так же полноправны и полнокровны, как Тиль, Чичиков, Безухов, Швейк или Мелькиадес.

Но он работал – как дерево не может не плодоносить, как земля не может не родить, как гора не может не возвышаться над прискорбно-плоским окружающим пейзажем. Работа может быть естественной, как дыхание, и необходимой, как вода, – и он, вернувшись к юношескому увлечению стихами, писал совсем коротко и просто:

Жизнь – неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Впрочем, когда-то и где-то
Были любимы и мы —
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.

Дмитрий Быков

Софичка

Был чудный сентябрьский день. Софичка, девятнадцатилетняя чегемская девушка, сидела на взгорье у выхода из каштановой рощи и отдыхала, погруженная в томительные раздумья. Она сидела, опершись спиной о могучий серебристый ствол поваленного бука. Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дробились на иссиня-черных зернистых ягодах.

Еще невысоко над горами поднявшееся светило приятно припекало ее голые ноги, обутые в дешевые парусиновые башмачки, нежным теплом прикасалось к ее телу, проникая в него сквозь легкое ситцевое платье, и Софичка блаженно цепенела от этих прикосновений. Ее темные лучистые глаза на смуглом лице, обычно сияющие навстречу всему живому неистощимым светом, были сейчас приглашены поволокой раздумья.

Вокруг нее стрекотали кузнечики, гудели шмели, пахло усыхающей травой, папоротниками, пригретой землей. Перед ней чуть пониже простирались заросли папоротников и азалий, а дальше начиналась холмистая местность, зеленеющая травой и желтеющая под кукурузными полями.

Слева от нее, громоздясь друг над другом, поднимались синеющие горы, а над горами вздымались хребты, вершины которых врезались в голубизну неба, сверкая аппетитным свежавывающим снегом.

Справа, плавно опускаясь, зеленые холмы переходили в прибрежную низменность, закутанную в сиреневую дымку, прорезанную блестящими гибкими рукавами Кодора и кончающуюся призрачной стеной моря с неподвижным черным силуэтом парохода, как бы висающим в воздухе. Оттуда дул ровный прохладный ветерок.

Над холмами с утра со стороны Кубани пролетали коршуны. То огромными стаями, то запоздалыми одиночками, они летели, устало взмахивая крыльями, иногда подолгу кружась на одном месте, изредка опускаясь на деревья, и постепенно пролетали куда-то дальше в сторону Батуми. С холмов доносились негромкие хлопанья выстрелов, лай и взвизги разгоряченных собак. Там с утра бродили охотники на коршунов, диких голубей и перепелок.

Жители западного края Чегема, где жила Софичка, никогда не охотились на коршунов, считая их несъедобными птицами, и посмеивались над жителями восточного края Чегема, которые охотились на коршунов и находили их мясо вполне съедобным. Они, в свою очередь, посмеивались над жителями западной части села за их упрямое нежелание признавать коршуна съедобным. Жители западной части Чегема, находясь в гостях у жителей восточной его части, зорко следили, чтобы их случайно, а то и нарочно, в насмешку не угостили этой пролетной российской птицей. А те так и норовили подсунуть им коршунятину под видом индюшатины.

В сущности, Софичка в этом месте вышла из лесу, где собирала ежевику, со смутной надеждой встретиться с одним из охотников на коршунов, Роуфом. Софичка была в него влюблена, хотя сама себе в этом не признавалась. Она влюбилась в него прошлым летом, когда на большом дворе сельсовета проводились праздничные игры.

Играли в мяч. Тряпичный мяч оспаривали две команды из равного количества игроков. Суть игры состояла в том, чтобы, схватив мяч, пробежать с ним до края поля, принадлежащего противнику, и шлепнуть им по забору, ограждающему двор сельсовета.

На того, кто схватил мяч, наваливались игроки противной команды, стараясь отнять его. Мяч можно было вышибать из рук противника, выдергивать, вырывать. А самого противника разрешалось тянуть за руки, за ноги, валить его на землю, и только нельзя его было бить. И на том, как говорится, спасибо.

Женщины, девушки, мужчины, старики, дети – словом, все, кто не принимал участия в игре, сидели у края поля, следя за игрой и криками подбадривая своих родственников и близких.

Софичка сидела в этой толпе в праздничном крепдешиновом платье и красных городских туфлях, которые, кстати, ужасно давили ей ноги. Увлеченная игрой, она забыла об этом и во все глаза следила за тем, что происходит на поле.

Вдруг игроки сгрудились посреди лужайки, некоторые повалились на землю, некоторые пытались оттолкнуть друг друга, некоторые напрыгивали сверху на сцепившуюся массу тел, и совершенно невозможно было понять, у кого в руке мяч.

И когда азарт зрителей дошел до предела, из массы тел высунулась голова, а потом грудь в синей майке. И на долгое мгновение игрок замер, напряженно наклонившись вперед, с мощно вздувшимися мышцами плеча, с выпукло натянувшей майку грудью, с блестящими зубами оскаленного рта, и было волнующе непонятно, сумеет ли он вырваться из обхвативших его со всех сторон рук и ног или рухнет назад в эту свалку.

– Роуф, рванись! – вдруг резко выкрикнул из толпы зрителей старый Хасан и с силой всадил свой посох в землю. Это он так взбадривал своего сына.

И Роуф, словно конь, огретый камчой всадника и одним прыжком одолевающий уносящий его поток, вырвался из свалки, проволочив несколько метров вцепившегося в его ногу игрока, сошвырнул его и кинулся к условным воротам противника. Игроки с гиканьем пустились за ним, но догнать его уже никто не мог. Подбежав к краю поля, он с налету влепил мяч в забор, ограждающий двор сельсовета.

Возвращаясь домой после праздничных игр вместе с другими девушками своего края села, Софичка, держа в руках красные городские туфли и быстро переступая босыми ногами, вполуха слушала веселую болтовню подружек. Перед ее глазами так и стояло наклоненное вперед напряженное тело Роуфа с мощно вздувшимися мускулами плеча, с выпуклой грудью, обтянутой синей майкой, и оскаленным белозубым ртом. Вечером во время ужина в Большом Доме вспоминали подробности дневных игр возле сельсовета. Софичка была внучкой брата старого Хабуга. И дед, и отец, и мать у нее давно умерли, и она вместе со своим братом воспитывалась в доме старого Хабуга.

– Ну и силен этот коршуноед Роуф, – сказал брат Софички, – хотел бы я с ним схватиться когда-нибудь.

Звали его Нури. Он был очень задиристым и горячим парнем. Услышав слова брата, Софичка вспыхнула, сама не зная почему. Слава богу, никто ничего не заметил.

В ту ночь Софичка плохо спала. Ей все мерещились эта игра, крики зрителей, беготня и свалка полураздетых парней, и напряженно выжимающееся из этой свалки тело Роуфа, и крик старого Хасана, вонзившего посох в землю, и рванувшееся после этого крика тело Роуфа, проволочившего вцепившегося в него парня.

С того дня что-то странное произошло с Софичкой: ей всюду мерещился Роуф. Раньше ей никогда ни один парень не мерещился. Она никогда не думала, что ей может примерещиться какой-нибудь парень. Тем более она не думала, что ей может примерещиться кто-нибудь из коршуноедов.

Но так получилось, что она сначала восхитилась силой и мужеством, с которыми он вырывался из толпы, потом он стал ей мерещиться, а потом уже брат напомнил, что он из коршуноедов. Если б она сразу об этом вспомнила, может быть, он и не стал бы ей мерещиться. Но теперь уже было поздно об этом думать. Теперь ей ужасно хотелось его увидеть и понять, отчего он ей мерещится. Ей казалось, что, если она его увидит, она поймет, отчего он ей мерещится, и он перестанет ей мерещиться.

Дней через десять Софичка вместе с девушками и женщинами своей бригады с пустыми корзинами в руках возвращались из табачного сарая, куда носили табак после ломки. И вдруг

он им встретился на тропинке. Увидев их, остановился. Широкогрудый, высокий, перепоясанный тонким абхазским поясом, он стоял с густо облепленной черными глянцевитыми ягодами веткой лавровишни в руке. Светлые глаза его на загорелом лице блестели, рот улыбался. Он стоял на тропе, готовясь пропустить их мимо себя, и взгляд его упал на Софичку, и рот его, сверкнув белыми зубами, еще шире растянулся в улыбке. Софичка почувствовала, что сейчас он ей что-то скажет, и ей стыдно стало, что ее платье замазучено черным соком табачных листьев и от него же ее ладони черны. И она, слегка прикрываясь корзиной, прошла мимо, чувствуя на себе его улыбающийся взгляд.

– До чего же ты миленькая, Софичка, – сказал он, выплевывая косточку лавровишни, – так бы тебя и съел.

Софичка покраснела, девушки прыснули, а когда они прошли несколько шагов, одна из них быстро обернулась и дерзко крикнула:

– А мы-то думали, что вы одних коршунов едите!

Тут девушки взорвались смехом и стали оглядываться, чтобы понять, какое впечатление произвели на Роуфа слова их подружки. Судя по тому, что он, улыбаясь, продолжал смотреть им вслед, он не обиделся. После этого они всю дорогу до самой плантации обсуждали это происшествие.

– Вот тебе и блажененькая, – говорили они, – какого коршуноета сглазила.

Считалось, что Софичка слегка не в своем уме. Очень уж она была доброй. Чегемцы, как и прочее человечество, не привыкли к такой дозе необъяснимой доброты.

Низко склонившись к табачным стеблям, Софичка быстрыми пальцами ломала табак и думала об этой встрече и его словах. Она не слишком понимала, что означает его шутка, но радость, струящаяся в ней, сейчас сама подсказывала, что слова его сулят что-то таинственное, сладостное, счастливое. Выходит, он ее заметил тогда на играх, когда она была в праздничном платье и новеньких городских туфлях? Или раньше когда приметил?

В следующий раз они встретились в доме охотника Тендела на пирушке, устроенной по случаю возвращения его внука из армии. Софичка была среди других девушек, обслуживающих пиршественный стол.

Роуф сидел в углу и, постругивая яблоко перочинным ножом, рассказывал веселую историю о том, как он, будучи в армии, обучал жену какого-то капитана верховой езде. Жена этого капитана, оказывается, хотела соблазнить его, а он никак этого не мог понять. Другие девушки, обслуживавшие столы вместе с Софичкой, сгрудились возле него и, посмеиваясь, слушали. Софичка тоже со жгучим любопытством слушала его, но хозяйка дома не дала ей дослушать.

– Софичка, – крикнула она ей, – вон за тем столом сациви кончилось!..

И Софичке пришлось пойти на кухню и принести оттуда бутылку сациви. Уже на кухне она услышала взрыв хохота, раздавшийся за тем краем стола, где сидел Роуф. Видно, он что-то смешное сказал, но Софичка так и не узнала что. Разлив сациви гостям, она вернулась туда, где сидел Роуф.

Он уже рассказывал о том, как они с женой капитана спешили в лесу, потому что она притворилась, что ее укачало на лошади. Но он еще не знал, что она притворяется. Он бегал к ручью и, наполнив свою пилотку водой, обливал ее лицо и шею, а она только стонала и мотала головой, как бы показывая, что ей нужны совсем другие процедуры. Но он этого не понимал и все время бегал к ручью со своей пилоткой. Софичке было ужасно интересно, чем это все кончится. Она удивлялась, как это Роуф ничего не понимал, когда она, Софичка, и то все поняла. Но тут ее хозяйка опять отвлекла.

– Софичка, – крикнула она, – посмотри на этот стол, здесь вино кончается!

Софичка схватила со стола кувшин, побежала на кухню, сунула шланг в бочку, вытянула из него вино, и, когда она направила струю вина в кувшин, с веранды раздался как бы заключительный хохот, и Софичка поняла, что самое интересное прозвучало. Ей стало до слез обидно,

что всегда ее первой зовут, когда надо что-нибудь сделать. Вон сколько девушек обслуживают стол, а зовут все равно ее. Она вернулась на веранду, поставила кувшин на стол, где не хватало вина, и подошла к тому месту, где сидел Роуф. Но тут уже все было кончено, и Софичка хотя ужасно любопытствовала, но никак не осмеливалась спросить у девушек, чем же закончилась эта история с женой капитана. Ей хотелось думать, что она ничем не закончилась.

– Что ж ты все постругиваешь яблоки, – спросила у Роуфа одна из девушек, – что же ты ничего не кушаешь?

– Я бы, пожалуй, одну из вас съел, – сказал Роуф улыбочиво, оглядывая девушек и отправляя в рот дольку яблока.

Девушки дружно рассмеялись, выражая готовность быть съеденными таким замечательным парнем. Эти девушки не знали, что он уже это говорил Софичке. Он опять намекает, подумала Софичка, ликуя от жаркого предчувствия. Замерев от счастья, она прислушалась, не добавит ли он чего-нибудь к своим словам, чтобы окончательно ясно было, что он имеет в виду Софичку, но тут опять вмешалась хозяйка.

– Да что вас там медом приклеили, что ли?! – крикнула она. – Софичка, гостей пора мясом обносить!

И Софичка, вздохнув, пошла обносить гостей мясом.

За этот год она еще несколько раз встречалась с Роуфом, и при первой встрече, они были одни, он еще раз сказал ей, улыбаясь, что она такая миленькая, что он готов съесть ее. На этот раз его слова так взволновали Софичку, что она всю ночь не спала, переворачиваясь с боку на бок, то прижимая к себе одеяло, то откидывая его прочь, и никак не могла успокоиться. И она решила, что, если он еще раз скажет эти слова, она ему ответит с неслыханной дерзостью.

– Так съешь меня, кто тебе мешает! – вот что она ему ответит, если он еще раз так ей скажет.

Но он почему-то больше этого не говорил, и Софичка мучилась, думая, что ему теперь понравилась совсем другая девушка и он, может быть, ей говорит эти слова.

В последний раз она его видела, когда он заглянул в табачный сарай, где она низала табак. Софичка была одна. Она попыталась встать ему навстречу, но почувствовала, что ноги ее страшно отяжелели. Она подумала, что сейчас он повторит эти слова, но она никак не сможет ответить ему то, что собиралась ответить. Сейчас ей было очень стыдно сказать ему так. Но он ничего не сказал, хотя она всем своим существом почувствовала, что он ей хочет сказать что-то очень важное. Но он почему-то ничего ей не сказал, а только, неловко помедлив в дверях, спросил, не видала ли она бригадира.

– Не видала, – выдохнула Софичка, чувствуя одновременно облегчение и разочарование и боясь, что он заметит, как табачная игла подрагивает в ее руке.

...Обо всем этом думала Софичка, сидя на взгорье, глядя на желто-зеленые холмы, откуда доносились слабые хлопанья выстрелов, греясь на солнце, слушая верещание кузнечиков и вдыхая томящий дух усыхающих трав и папоротников. А по синему бездонному небу все плыли и плыли коршуны, взмахивая крыльями – медленно, мощно, устало.

Внезапно Софичка услышала за собой шелест травы и, очнувшись от раздумий, испуганно обернулась, словно кто-то мог подсмотреть ее тайные мысли и видения. Это был Роуф.

Он шел легкой, сильной походкой. Лицо его было радостно возбуждено, по-видимому, удачной охотой. На его широком охотничьем поясе, чуть бронзовея на солнце, телепались три серых коршуна.

Восторг и страх одновременно пронзили Софичку, но губы ее сами расцвели улыбкой. Она так хотела увидеть его – и вот он!

И он тоже обрадовался ей, и она заметила, как лицо его озарилось, а светлые глаза полыхнули. Но он еще был полон охотничьего азарта.

– О, Софичка! – крикнул он. – Как я рад! Сиди, сиди! Взгляни сюда!

Он приподнял обеими руками тяжелых птиц и качнул ими на ладонях, словно на весах, как бы гордясь мощным, неоспоримым доказательством охотничьей удали.

– Ты видишь, – говорил он восторженно, – а этот какой! И у меня мелкая дробь, ты понимаешь?! Я взял не те патроны, ты понимаешь?!

– Да, да! – воскликнула Софичка, проникаясь его настроением, хотя не очень понимала, что означает мелкая дробь. – А тебе их не жалко?

– А чего жалеть, – кивнул он на небо, – вон их сколько пролетает...

Раздвинув птиц, чтобы не подмять их, он сел рядом с ней. Ее обдало крепким запахом пота, от которого темнела его сатиновая рубашка на груди и под мышками. Он скинул с плеча свою двустволку и положил ее на траву рядом с собой. Потом вынул из кармана платок, отряхнул его и, распахнув на груди рубашку, стал протирать платком шею и грудь. Та самая синяя майка мелькнула под рубашкой, и Софичка, застыдившись, опустила глаза. От истового протирания шеи и груди он оскалился, как тогда во время игры, когда напряженно вырывался из свалки. По его резким движениям Софичка чувствовала, что его все еще не покидает охотничий азарт.

– Мелкая дробь, понимаешь, – продолжал он, отряхивая платок и вкладывая его в карман. Он вытянул ноги, обутые в чувяки из сыромятной кожи. – Надо очень близко подпускать, а я не знал! Стреляю – не берет! Вижу – попал! Не берет! Потом только догадался, что патроны не те.

Софичка почувствовала некоторую обиду оттого, что он все время говорит о своей охоте, а ее вроде не замечает. Может, начини он заигрывать с ней, она бы сама попыталась оттолкнуть его от таких разговоров, но сейчас ей очень захотелось приблизить его к тому, что жгло ее и изводило весь год.

– Роуф, – сказала она, вздрагивая от волнения, – в тот раз, когда ты заглянул в табачный сарай, ты ведь хотел мне что-то сказать? Мне ведь не почудилось?

– Какой табачный сарай? – спросил Роуф, медленно возвращаясь от своих коршунов на землю.

– Ну, в тот раз, – еще сильнее волнуясь, напомнила Софичка, – когда ты спрашивал бригадира, ты ведь совсем другое хотел мне сказать?

Роуф осоловело смотрел на нее несколько секунд и вдруг, запрокидываясь на ствол бука, вскинул ружье и – бабах в небо!

Софичка ахнула от страха, прихлопнула ладонями уши и посмотрела вверх. Она увидела огромного коршуна, пролетающего над ними, и успела заметить, как он отпрянул после выстрела, словно подброшенный дробью, но тут раздался второй выстрел, и коршун, с каждым мгновением вырастая на глазах, пошел вниз и шлепнулся на траву недалеко от них. Он побежал по траве, уродливо вскидывая обессиленными огромными крыльями. Роуф кинулся за ним и через несколько секунд поймал его. Птица, взмахивая непомерными крыльями, вырывалась у него из рук, пока он не изловчился схватить ее за глотку и перекрутить ее.

Софичка зажмурилась, ей показалось, что она услышала хруст переломанных хрящей. Тяжело дыша, с упоенным лицом, Роуф возвратился к ней и швырнул огромную, еще слабо трепыхающуюся птицу к ее ногам.

– Ты видела?! – спросил он, радостно улыбаясь и снова садясь рядом с ней. Он сначала прислонил ружье к стволу бука, а потом сел, опять не забыв приподнять птиц, телепавшихся на его пояс, чтобы не подмять их.

– До чего же ты быстрый, Роуф! – воскликнула Софичка. – До чего ж ты быстрый!

– Да, я быстрый, – отвечал Роуф, старательно вытирая о траву окровавленную ладонь правой руки.

– И как ты его заметил, Роуф, – удивилась Софичка, – ты ведь смотрел на меня?

– У охотника третий глаз на затылке, – важно заметил Роуф. Чувствовалось, что он наконец успокоился.

– Ты чересчур быстрый, Роуф, – сказала Софичка, – с тобой, наверно, опасно...

– Смотри кому, – усмехнулся в ответ Роуф и посмотрел на Софичку так, словно только что ее заметил.

Солнце уже поднялось довольно высоко. В траве повсюду развевались кузнечики. Высоко в небе плыли и плыли коршуны. Некоторые из них снижались на желто-зеленых холмах, где под кронами деревьев прятались охотники и откуда доносились приглушенные хлопки выстрелов.

– Роуф, – снова напомнила Софичка, – ты ведь в тот раз, когда заходил в табачный сарай, хотел мне что-то сказать? Ты ведь хотел, Роуф?!

– Да, – согласился Роуф и как-то странно посмотрел на Софичку своими светлыми глазами на загорелом лице, – но откуда ты знаешь об этом?

Он перевел взгляд на корзину с ежевикой, стоявшую между ними. И вдруг гребанул ладонью горсть ежевики и, высыпав ее в рот, снова взглянул на Софичку, каким-то странным образом соединяя ее с этой ежевикой. Так показалось Софичке.

– Я сама догадалась, Роуф, – восторженно отвечала Софичка, – как только увидела тебя, догадалась!

– Ежевика в жару хорошо идет, – сказал Роуф, причмокивая и как-то странно поглядывая на Софичку. Видно было, что он одновременно прислушивается к хлопанию выстрелов на желто-зеленых холмах. Снова, уже не глядя, запустил руку в корзину и достал еще горсть ежевики.

– Так что же ты мне хотел сказать, Роуф? – спросила Софичка, дрожа от волнения.

– Я хотел сказать, что ты лучше всех, – сказал Роуф и снова прислушался к желто-зеленым холмам. Прислушавшись и словно убедившись, что они ему не мешают, очень странно взглянул на Софичку.

– Не ври, Роуф! – вскричала Софичка. – В Чегеме столько красивых девушек!

– А ты лучше всех, – убежденно сказал Роуф и, не глядя, приподнял корзину и поставил ее влево от себя, словно освобождая место между собой и Софичкой.

– Роуф, зачем ты переставил корзину? – удивилась Софичка.

– Так надо, – сказал Роуф и стал вытирать руку о траву. Теперь ладонь его была измазана ежевичным соком. «Покончил с ежевикой и теперь приступит ко мне», – замирая, подумала Софичка. Сейчас он оттирал руку от ежевичного сока дольше, чем от крови коршуна.

– Отчего ты так долго трешь руку о траву! – вскричала Софичка, умирая от любопытства.

– Сейчас узнаешь, – сказал Роуф и вдруг снова прислушался к холмам, откуда доносились приглушенные выстрелы, словно раздумывая, не мешает ли ему то, что делается на холмах. И, словно убедившись, что не мешает, расстегнул свой охотничий ремень с дичью и накинул его на поваленный бук.

– Что ты скинул пояс, Роуф?! – вскричала Софичка, чувствуя, что ноги ее наполняются непреодолимой тяжестью.

– Вот уже год, – сказал Роуф, – как только я тебя увижу, мне хочется тебя трясти, трясти, трясти...

– Да что я, яблоневая ветка, что ли, чтобы меня трясти?! – снова вскричала Софичка.

– Думаю, что тебе придется научиться готовить коршунов, – сказал Роуф и, подсев к ней, обнял ее одной рукой.

– Не хочу я готовить коршунов, – стыдливо сказала Софичка, горячо чувствуя его руку на своем плече, – небось они жилистые?

– Сначала попробуй, а потом говори, – отвечал Роуф и, крепко прижав ее к себе, поцеловал прямо в губы.

Софичка, задохнувшись, вырвала лицо, но он ее снова притянул к себе и снова поцеловал прямо в губы. Она снова вырвала лицо, но он ее крепко держал одной рукой, и она вспомнила его напряженное плечо, когда он вырывался из свалки, и подумала, что рука его сейчас, наверное, так же напряжена. И он снова притянул ее к себе, и она снова почувствовала, что чем сильнее она сопротивляется, тем теснее их сближает какая-то сила.

– Роуф, нас могут увидеть!

– Только коршуны!

– Нас обоих убьет мой брат, если узнает!

– Не бойся, я тебя украду!

Наконец он так крепко ее поцеловал, что она захотела, чтобы он ее еще крепче поцеловал. Но тут он сам оторвался от нее и встал. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись к буковому стволу. Он уже надел свой пояс, прикрепив к нему последнего коршуна. И сквозь тишину забытья, сквозь острый, близкий запах вянущих трав и теплой земли она откуда-то сверху услышала его голос:

– Как только уберем кукурузу и виноград, я дам тебе знак. Жди.

Шаги его быстро ушуршали по траве. Софичка очнулась. Она все так же сидела, откинувшись спиной на ствол поваленного бука. Солнце жарко припекало. Кузнечики оглушительно трещали в траве. В воздухе стоял сильный запах разогретых папоротников. Софичка чувствовала, как кровь струится в ее теле. Голова кружилась, и все, что она видела, поднималось и плыло куда-то.

Плыла земля, на которой она сидела, плыли далекие горные хребты с заснеженными сверкающими вершинами, плыли желто-зеленые холмы, откуда теперь гораздо реже, но все еще доносились приглушенные хлопки выстрелов и взлай разгоряченных собак. Плыла прибрежная долина в сиреновой дымке, прорезанная серебряной лентой Кодора, и плыло огромное бездонное небо, по которому все еще пролетали бесконечные стаи коршунов, взмахивая крыльями – медленно, мощно, устало.

Прошел месяц. На приусадебном участке дедушки убрали кукурузу и уже третий день собирали виноград. Брат Софички Нури и дядя Кязым, стоя на ветках ольховых деревьев, обвитых виноградной лозой, рвали виноград. Длинные конусообразные плетеные корзины, наполненные черными гроздьями, с шумом пробивая пожелтевшую листву своим острым концом, спускались вниз на веревке. Софичка вываливала из них виноград в большую круглую корзину, а эта, конусообразная, снова поднималась вверх.

Над корзиной вились бесчисленные полосатые осы. День был необычайно жарким, парило, ждали дождя. Дядя Кязым и Нури спешили добрать виноград до начала дождей.

Набрав с полкорзины, Софичка с трудом приподнимала ее и, положив на плечо, тащила в винный сарай, где стояло огромное долбленое корыто – давяльня. Софичка, пригнувшись, перекладывала корзину с плеча на край давяльни, а потом опрокидывала в ее огромное, уже исходящее соком чрево.

Немного отдохнув у давяльни, уже почти наполненной гроздьями черной «изабеллы», над которой неистово гудели опьяненные пчелы и осы, Софичка поднимала корзину и, покинув прохладный полутемный сарай, шла туда, где брат и дядя собирали виноград.

Весь этот месяц Софичка, обмирая, думала о том, что случилось там, на взгорье у выхода из каштановой рощи. Нет, она ни о чем не жалела. Но временами ей казалось, что их кто-нибудь мог увидеть, когда ее целовал Роуф, и тогда она в ужасе кусала себе ладони и думала, что, если б такое случилось, она, вероятно, умерла бы от стыда. Но такого не случилось, да и навряд ли могло случиться.

Она верила в Роуфа так, как верила в то, что после ночи должен наступить день. Конечно, время от времени и ее настигали девичьи страхи и сомнения, но ее вера и любовь к Роуфу

всегда побеждали и отгоняли страхи и сомнения. Она ждала знака от него и готова была по первому его слову бежать с ним туда, куда он найдет нужным.

Конечно, она предпочла бы не огорчать близких своим тайным побегом, но, видно, иначе нельзя. Она знала, что дедушка ее навряд ли добровольно согласился бы отдать ее за полутурка, хотя и «обабхазившегося», да еще и коршуноеда. Если б он был только из турок или только из коршуноедов, может быть, близкие скрепя сердце согласились бы на ее замужество, а так, кто его знает, что будет.

Конечно, и Роуф это понимал. Да и по обычаям абхазским и вообще горским умыкнуть девушку даже с ее согласия считалось делом чести, это придавало некий дополнительный чувственный жар обладателю ее: краденая слаще законной.

Все эти дни, пока собирали виноград, Софичка с лихорадочным нетерпением ожидала весточку от Роуфа. «Что он думает делать? Как там они, убрали кукурузу и виноград или нет? Раз мы кончаем убирать виноград, значит, и они кончают, – думала она, – или у них чуть позже все вызревает? Или что другое?»

Уже близко к полудню, когда Софичка с корзиной на плече проходила в винный сарай, она вдруг увидела незнакомого мальчика лет двенадцати, осторожно перешагнувшего через перелаз и идущего ей навстречу по скотному двору. Что-то дрогнуло в груди у Софички при виде этого мальчика. Софичка крепче уцепилась за корзину, чтобы не упустить ее. Это был совсем незнакомый мальчик, Софичка была уверена, что никогда не видела его.

Они приближались друг к другу по широкому скотному двору, и мальчик, как заметила Софичка, оглядывал ее прекрасными, правда, чересчур наглыми зелеными глазами. Поравнявшись с ним, Софичка остановилась.

– Мальчик, ты откуда? – спросила она.

– Оттуда, – махнул мальчик в сторону восточной части Чегема.

– А что тебе здесь надо? – дрогнувшим голосом спросила Софичка, глядя на мальчика и стараясь держать корзину в равновесии.

– Мне бы Софичку увидеть, – сказал он, глядя в глаза Софички своими зелеными наглыми длинноресничными глазами.

– А зачем она тебе? – спросила Софичка, боясь своим голосом испугать радость.

– Дельце есть, – сказал мальчик важно.

Софичка почувствовала, что с корзиной на плече она не выдержит, если это весть от Роуфа. Мальчик прислушивался к деревьям, где собирали виноград и откуда время от времени доносился шорох раздвигаемых листьев: то спокойный, то шумный и раздраженный, в зависимости от удаленности виноградных гроздей.

– Пойдем со мной, – сказала Софичка и быстрыми шагами пошла к винному сараю. Войдя в сарай, она, не пригибаясь и не ставя ношу на край давяльни, на ходу вбросила туда перевернувшуюся корзину и, тяжело дыша, обернулась к мальчику:

– Говори!

– Мне бы Софичку, – спокойно повторил мальчик, глядя на нее своими большими зелеными невозмутимыми глазами.

– Я, я Софичка! – выкрикнула Софичка, в нетерпении топнув ногой по земляному полу сарая.

– А я знаю? – спокойно отвечал мальчик, глядя на нее своими невозмутимыми длинноресничными глазами. – Может, ты родственница какая...

– Да Софичка я! – крикнула Софичка чуть не плача. – Говори, противный мальчишка!

– Нет, – помотал головой мальчик, – мне надо точно знать, что ты Софичка.

– Ты от Роуфа?! – выдохнула Софичка, теряя терпение.

– Ха! – усмехнулся мальчик. – Так я тебе и сказал...

– Да как же тебе доказать?! – в отчаянии спросила Софичка.

– Это твой брат там собирает виноград? – кивнул мальчик в сторону усадьбы.

– А кто же! – отвечала Софичка в нетерпении.

– Там двое, – уточнил мальчик, – а второй кто?

– Дядя! – крикнула Софичка.

– Вот и хорошо, – пояснил мальчик, глядя на нее своими наглыми ангельскими глазами, – будем ждать. Как только у них наполнятся корзины, они позовут тебя, и мы послушаем твое имя. Только если они назовут тебя иначе, не говори, что это твоя домашняя кличка.

– Господи, какой хитрый, – удивилась Софичка, радуясь, что у нее в самом деле не было никакого домашнего имени.

– А как же, – важно сказал мальчик, – такое дело дурачку не поручат.

– Какое же дело? – не утерпела Софичка, задыхаясь от волнения.

– Об этом я скажу, когда узнаю, кто ты такая, – терпеливо отвечал мальчик, прислушиваясь к чему-то и глядя на Софичку своими длинноресничными глазами выдавшего виды ангелочка.

Они простояли еще минут десять, показавшиеся Софичке вечностью. Мальчик спокойно озирался в винном сарае, не выказывая никаких признаков нетерпения. Он даже взял из давилки гроздь, забрасывая ягоды в рот и причмокивая, глотал их якобы исключительно с целью дегустации. Вид у него был такой важный, что Софичке, терявшей терпение, захотелось трахнуть его по башке корзиной.

– Да, – сказал мальчик с видом знатока, – виноград набрал сладость... Можно давить...

– Откуда только тебя выкопали? – не удержалась Софичка.

– Как откуда? – отвечал мальчик рассудительно. – Я уже двух девок выдал замуж... Ничего... Живут, не сбежали...

– Так, значит, ты от Роуфа! – вскричала Софичка.

– Ничего не значит, – ответил мальчик, нахмурившись оттого, что сказал лишнее.

Софичка уже была готова разорваться от нетерпения, но тут раздался голос Нури.

– Софичка, – заорал он с дерева, – ты что там, подошла в давилку?!

– Иду, иду! – крикнула Софичка и, вывалив из корзины виноград, взяла ее в руки. – Ну, теперь ты скажешь? – спросила она, обернувшись к мальчику.

– Теперь скажу, – ответил мальчик.

– Так говори, – взмолилась Софичка, – видишь, брат зовет?!

– Так ты готова ощипывать коршунов? – пытливо спросил мальчик.

– О господи! – воскликнула Софичка. – При чем тут коршуны?

– Отвечай, – властно сказал мальчик.

– Ну, готова, готова! – вскрикнула Софичка.

– А поджаривать их на вертеле? – безжалостно продолжал мальчик.

– И поджаривать, – покорно вздохнула Софичка, чувствуя, что спорить с мальчиком бесполезно.

– И кушать, само собой? – уточнил мальчик.

– И есть, – тихо согласилась Софичка, краснея. Они уже шли в сторону деревьев, где брат и дядя рвали виноград.

– Софичка! Софичка! – снова с дерева заорал Нури.

Софичка вздрогнула и остановилась.

– Иду! Иду! – крикнула она, глядя на мальчика.

Мальчик удовлетворенно слушал голос ее брата, как бы окончательно признав, что Софичка и есть Софичка.

– Ну так вот, – сказал мальчик торжественно, – сегодня, как только стемнеет, Роуф тебя ждет на холме возле старой крепости.

– А больше он тебе ничего не сказал? – спросила Софичка, от волнения перебросив корзину с одной руки на другую.

– Хватит и этого, – ответил мальчик, – ну, я дальше не пойду. Мне вовсе незачем мозолить глаза твоему брату. Еще мстить вздумает...

– Спасибо, – тихо шепнула Софичка и, быстро наклонившись, поцеловала мальчика в щеку.

– Этого еще не хватало, – буркнул мальчик и сурово вытер щеку плечом.

– Я тебе обязательно что-нибудь подарю за эту весть, – тихо сказала Софичка, чувствуя к маленькому вестнику необычайную нежность.

– Многие так говорят, – язвительно заметил мальчик, – но потом выходят замуж и все забывают.

– Нет, нет, я никогда не забуду! – вскричала Софичка.

– Поживем – увидим, – сказал мальчик и добавил с видом человека, не привыкшего брать на себя неразумную долю риска: – Ну, я пошел. Мне незачем мозолить глаза твоему брату.

– Иди, иди, – шепнула Софичка, – я все сделаю как надо.

– Так не забудь – у старой крепости, – напомнил мальчик, поворачиваясь, – а то еще придеешь куда-нибудь не туда... У вас ведь, у девок, голова дырявая...

– Нет, нет, я все сделаю, как надо, – сказала Софичка, чувствуя необычайный прилив нежности к этому мальчику, словно предвидя в нем собственного сына.

– Еще бы, – буркнул мальчик и быстрыми шагами направился к перелазу.

Все, что происходило дальше, Софичка воспринимала как в тумане. Она принесла в винный сарай еще несколько корзин винограда. Потом брат и дядя слезли с деревьев и пошли давить виноград. Софичка принесла из дому кувшин с водой и мыло. У края скотного двора нарвала охапку папоротниковых стеблей. Вошла в винный сарай и у самого винного корыта выстлала папоротником земляной пол, положила на него мыло и поставила рядом кувшин.

Закатав до колен галифе, брат и дядя поочередно, становясь на папоротниковую подстилку, с мылом вымыли ноги и залезли в давящую.

Софичка постояла возле них, ощущая скрежещущие, шлепающие и чавкающие звуки раздавливаемых гроздей, глядя, как мерно работают их сильные, мускулистые, теперь до колен окрашенные в красный сок ноги, то и дело вминающиеся в наваленный виноград и с аппетитным чмоком выдирающиеся оттуда и снова вминающиеся в сочно лопающиеся ягоды. Убедившись, что теперь они здесь достаточно долго пробудут, Софичка побежала домой, прихватив с собой кувшин и мыло.

Уже давно приготовленный чемодан с одеждой и бельем лежал у нее под кроватью. Сейчас надо было незаметно вынести его, спрятать где-нибудь в зарослях недалеко от дома, а потом вечером, когда она сбежит, прихватить его. Софичка много раз думала об этом и правильно решила, что вечером, когда в доме все соберутся, незаметно вынести чемодан будет гораздо труднее.

Сейчас в доме никого не было, кроме Нуцы, жены дяди Кязыма. Она возилась на кухне. Софичка выбежала за ворота и оглядела верхнечегемскую дорогу, насколько ее охватывал глаз. Никого.

Она снова вбежала в дом, вошла в свою комнату, достала чемодан и вышла с ним на заднее крыльцо. Спустилась в огород и, ступая прямо по шумящим лопающимся листьям тыквы, подошла к плетню и перетащила чемодан на верхнечегемскую дорогу. Потом вскочила на плетень, прыгнула вниз и, схватив чемодан, стала подниматься по крутому склону, поросшему зарослями самшита, рододендрона, азалий.

Продираясь сквозь колючие кустарники ежевики, она влезла в самые густые заросли азалий и спрятала в них чемодан. Потом она нарвала ореховых веток и воткнула их так в кусты азалий вокруг чемодана, чтобы он был совсем незаметен, хотя он и так был незаметен.

Она отошла на несколько шагов, пытливо вглядываясь в место, где спрятан чемодан, окончательно убеждаясь, что его не видно. Присмотрелась к большому белому камню, торчавшему из земли возле кустов азалий. Он мог потом послужить ей хорошим ориентиром. Особенно в темноте. Наконец Софичка покинула взгорье и вернулась домой.

Из давящей гонимости прозвучал голос Нури. Он просил свежей воды. Софичка взяла кувшин и быстро спустилась к роднику. Набрала воды, она поставила кувшин на плечо и, ни разу не отдохнув в пути, принесла его домой. Она перелила свежей воды из кувшина в чайник, прихватила стакан и спустилась в винный сарай.

Обливаясь горячим потом, с красными, измазанными винным соком ногами, брат и дядя продолжали усердно топтать виноград. Софичка налила в стакан воды, сполоснула его и наполнила. Она подала его сначала дяде, и тот медленно пил, запрокинув голову и двигая кадыком. Он пил, не выходя из давящей. Потом пил Нури, тоже не выходя из давящей. Он жадно выпил несколько стаканов воды.

Утолив жажду, он вспомнил о голоде.

– Обед скоро? – спросил он, шумно выдыхая воздух и выплескивая остаток воды из стакана.

– Сейчас, – сказала Софичка и, поставив чайник на папоротниковую подстилку, надела ему на носик стакан и побежала домой.

Тетя Нуца, стоя у разожженного очага, взялась за мамалыгу. Софичка сбегала на огород, нарвала луку, чесноку, кинзы и петрушки. После этого она надела на вертел куски копченого мяса, разгребла жар в очаге и поджарила его. Прислонив шипящий вертел к краю очага, она вышла во двор, кликнула детей тети Нуцы, игравших в доме тети Маши, и позвала мужчин, работавших в винном сарае.

К обеду брат принес в чайнике сладкого, еще не перебродившего вина – мачари. Софичка выпила стакан густого вина и почувствовала, что у нее закружилась голова. Такое вино не должно было ударить в голову, но ударило, и Софичка этому очень удивилась. Она не понимала, что ее волнение придавало вину крепость. Движения ее стали порывисты.

– Что с тобой, Софичка? – спросил дядя Кязым.

– Опьянела от мачарки, – усмехнулся Нури.

Поев и покурив, брат и дядя снова ушли в винный сарай давить виноград. Софичка от волнения и бесконечности ожидания вечера не знала, чем занять себя. Она вымыла полы во всем доме и вымылась сама.

Вдруг ей пришло в голову, что кто-то мог залезть в кусты азалий, обнаружить ее чемодан и унести его. В ужасе Софичка выскочила из дому, перебежала верхнечегемскую дорогу и, снова продираясь в зарослях, поднялась к тому месту, где стоял чемодан.

Чемодан стоял на месте, но ветки ореха, наброшенные на кусты азалий, приуныли и теперь выглядели подозрительно. Она скинула ветки ореха с зарослей азалий и еще глубже в кусты упрятала чемодан. Спускаясь на дорогу, она вдруг встретила лесничего Омаром. Вздорный лесничий не мог не проявить свою вздорность.

– Ты что там делала? – громко спросил он у нее, удивляясь тому, что она откуда-то сверху спускается на дорогу.

– Ничего, – ответила Софичка, выходя на дорогу.

– Как так – ничего, – заорал он, – люди как люди ходят по дороге, а ты что по чащобам шастаешь?

– Я так, я ничего, – отвечала Софичка, стараясь успокоить его своим спокойным голосом. Она боялась, что дома его кто-нибудь услышит.

Несколько секунд он смотрел на нее, сверкая подозрительными глазками, и Софичка со страхом подумала, что вот сейчас он поднимется по ее следам и обнаружит ее тайну.

– «Ничего», – злобно передразнил он ее, – если ты девушка, ты должна скромно идти по дороге, а не шастать по кустам... Совсем стыд потеряли...

Это он говорил, уже продолжая свой путь. Софичка облегченно вздохнула: ну какое твое дело, проклятый старикашка!

К вечеру небо обложило тяжелыми черными тучами. Солнце с трудом пробивалось над горизонтом и обаграло зловещим цветом край неба. Коровы, мыча, стояли у ворот скотного двора. Дедушка пригнал коз и впустил их в загон, откуда они беспрерывно переблеивались с козлятами.

Куры стали взлетать на инжировое дерево, где они обычно устраивались на ночь. Некоторые из них, не долетев до намеченной ветки, падали вниз, вызывая почему-то гневное порицание петухов. Иногда петухи, не удовлетворяясь устным порицанием, набегали на кур и топтали их, как бы возбужденные женственной слабостью их крыльев и одновременно наказывая их за это. После чего, отряхнувшись, куры взлетали гораздо удачнее. И было непонятно, что именно их вдохновляло: сама процедура наказания или боязнь ее повторения. Впрочем, Софичка этих подробностей не замечала.

Она стояла посреди двора и, сама того не осознавая, прощалась с дедушкиным домом, где она выросла, со старой яблоней, упирающейся замшелой веткой в веранду, с грецким орехом, осеняющим двор справа. Она слушала блянье коз в загоне, мычанье коров, уже загнанных в скотный двор, кудахтанье взлетающих на дерево кур.

И когда жена дяди Кязыма вышла из кухни с подойником, чтобы подоить коров и коз, а дедушка прошел в винный сарай, чтобы посмотреть, как там давят виноград, она решила – пора.

Волнение комом стояло у нее в горле, и она могла разрыдаться, если б не страх за предстоящее дело. Заставив себя выйти, а не выбежать со двора, она уже почти бегом поднималась в гору, цепляясь за кусты лесного ореха, кизила, самшита, опутанные колючими плетями ежевики. Здесь, в зарослях, уже было довольно темно. Но вот и камень белеет, а вот и кусты азалий.

Софичка подбежала к ним, с шумом отогнула упругие ветки и выволокла чемодан. Она быстро раскрыла его, вынула оттуда крепдешиновое платье, чулки, кофту и красные городские туфли. Со страхом озираясь в зеленом полумраке, она скинула с себя домашнее платье, натянула праздничную одежду, надела городские красные туфли, запихнула в чемодан снятое платье, завернула свои домашние башмачки в листья лопуха и, сложив их в чемодан, закрыла его.

В быстро сгущающихся сумерках, то продираясь сквозь заросли, то ступая по козым тропам, Софичка теперь двигалась в сторону старой крепости, где ее должен был ждать Роуф.

Минут через тридцать, когда она, по ее расчетам, должна была выбраться на открытое пространство, она почувствовала, что зашла куда-то не туда. Вершина взгорья была покрыта зарослями папоротников, и там высились развалины старой крепости.

Но ничего такого не было видно. Софичка почувствовала, что промахнулась, взяла левее или правее. Вокруг нее росли бесконечные кустарники с редкими буковыми и каштановыми деревьями, и она с каждой секундой с нарастающим ужасом осознавала, что заблудилась и ничего вокруг не узнает.

И как это бывает в таких случаях, именно то, что она заблудилась рядом с домом в местах, которые она сотни раз исходила с самого детства, вселяло в нее дополнительный суеверный страх. То ей казалось, что она сошла с ума от волнения и ничего не узнает вокруг, то ей казалось, что какие-то силы заколдовали это взгорье, чтобы она, не узнавая дороги, не смогла встретиться со своим возлюбленным.

Ужас позорного возвращения домой, разоблачения, расстройства свадьбы охватил ее с такой силой, что она готова была броситься на землю и зарыдаться.

И все-таки из последних сил она держала себя в руках и пыталась понять, куда ей двигаться. Но пламя паники уже охватило ее, и она, рванувшись в одном направлении, через

несколько минут меняла его, боясь, что идет не туда, и снова убеждалась, что не узнает местности. Все деревья и кусты, которые она различала в темноте, казалось, чуть-чуть сдвинулись со своего места, и невозможно было определить, куда идти.

Софичка собрала все свои силы и решилась на последний здравый шаг. Она повернула назад и вышла на верхнечегемскую дорогу, рискуя с кем-нибудь встретиться. Над верхнечегемской дорогой, прямо напротив дома тети Маши, который стоял внизу под дорогой, вела тропа в сторону старой крепости.

Как только она спустилась к белеющей в темноте дороге, силы снова вернулись к ней, она сразу поняла, где находится, и была уверена, что если бы теперь снова поднялась на гору, то обязательно правильно вышла бы к нужному месту.

Но она не стала рисковать, а пошла по дороге радостной быстрой походкой. Она только боялась, что ей встретится в пути кто-нибудь из чегемцев и до срока догадается о ее намерениях.

Поравнявшись с домом тети Маши, который стоял в некоторой глубине, внизу под дорогой, она услышала ее голос, перекликающийся с кем-то.

– Не видели! Не видели! – кричала тетя Маша, откликаясь на чей-то голос.

Не вслушиваясь в голоса, она свернула на тропу и пошла вверх, и, только когда голоса угасли, она вдруг догадалась, что это кричали из Большого Дома и искали ее. С нежной грустью, жалея родных, Софичка поднялась по тропе и вышла на лужайку возле старой крепости и увидела на фоне сереющей стены силуэт человека, державшего под уздцы лошадей, и силуэт другого человека, похаживающего возле него.

– Ты чего по тропе пришла? – тревожно спросил Роуф, быстро подходя к ней и беря у нее чемодан.

– Я заблудилась, – выдохнула Софичка. Она все еще тяжело дышала после крутого подъема.

– Заблудилась? – переспросил Роуф, силясь понять, как это она могла заблудиться рядом со своим домом, и, словно почувствовав, что нет времени осмысливать такие странности, оборвал себя: – Едем!

Несколькими быстрыми, резкими движениями он приторочил чемодан к седлу своей лошади. Потом взял под уздцы лошадь, предназначенную Софичке, и подвел к ней.

– Быстрей, – сказал он и, одной рукой придерживая под уздцы лошадь, другой придвинул Софичке стремя. Она подняла ногу, стараясь это сделать попристойнее, хотя было темно, сунула ее в стремя, ухватилась за луку седла и, с силой оттолкнувшись от земли, села в седло. Софичка нашла ногой второе стремя, а Роуф перекинул ей в руки поводья и передал камчу.

Роуф и сопровождавший его парень вскочили на лошадей.

– Как бы дождь нас не настиг, – сказал Роуф, трогая лошадь.

Парень выехал вперед, следом Софичка, а за ней ехал Роуф. Они спустились под гору, молча проехали по лощине, а потом дорога их вывела к нескольким домам выселка, где их ожесточенно облаяли собаки. Дверь кухни одного из домов, где особенно неистовствовала собака, открылась, и человек, стоя на пороге, окликнул их:

– Эй, кто вы?!

– Молчи, – шепнул Роуф, хотя Софичка и не думала подавать голос.

Проехав последний чегемский выселок, они углубились в лес.

– Теперь только дождь нам помеха, – сказал Роуф странно громким голосом после долгого молчания.

– Может, успеем проскочить? – ответил приятель, оглянувшись.

– Навряд ли, – сказал Роуф, к чему-то прислушиваясь, и добавил: – Как себя чувствуешь, Софичка?

– Хорошо, – ответила Софичка, радуясь, что Роуф к ней обратился, и стыдясь присутствия этого незнакомого парня, в дом которого они, видно, сейчас ехали. Софичка понимала, что он живет в другой деревне, но не знала, кто он такой и где именно находится его деревня.

– Твоя Софичка молодчина, – сказал парень, оглянувшись и сверкнув зубами в темноте.

– А что ты думаешь, Алеша, – сказал Роуф, – плохую лошадь не крадут.

Оба рассмеялись, и Софичку обдало теплом оттого, что этот неведомый парень ее похвалил. Она подумала, что он, наверное, очень добрый, и была рада, что хоть узнала наконец его имя. А то ехать в его дом и не знать его имя было как-то неудобно и спросить об этом Роуфа несподручно.

В лесу было тихо. В темноте серебрились колонны буковых стволов. Тропы не было видно, но лошади сами находили дорогу. Софичке жалко было стегать свою лошадь камчой, и она слегка приотставала, а Роуф, едущий сзади, окриками и свистом подгонял ее лошадь. Вдруг Роуф остановился.

– Тихо, – сказал он.

Софичка испуганно натянула поводья, решив, что он услышал звуки погони. Остановился и Алеша. В глубокой тишине ночи ничего не было слышно, кроме клачания удил на зубах у лошадей.

– Что ты слышишь? – спросил Алеша.

– Ливень нас догоняет, – сказал Роуф.

И вдруг Софичка расслышала далекий гул. Ей показалось, что притихшие деревья тоже с тревогой прислушиваются к далекому гулу приближающегося ливня.

– Пошли быстрее, – сказал Алеша и пустил свою лошадь рысью.

– Стегани ее камчой, – посоветовал Роуф Софичке и, не дожидаясь ее неверной камчи, так гикнул на ее лошадь, что Софичку мгновенно затрясло в седле. Лошадь пошла рысью.

– Крепко держи поводья! – крикнул Роуф сзади.

Лошади шли рысью, и слышался частый глухой стук копыт о твердую тропу, иногда звяканье подков о камни, а Софичку все трясло и трясло в седле, и она уже не знала, как долго длится езда рысью, и слышала, как сзади медленно и неуклонно приближается гул ливня. Вдруг Софичка почувствовала метнувшийся в темноте фиолетовый свет молнии, а следом грянул гром, словно, хрястнув, повалилось дерево. В листве деревьев зашумели тяжелые редкие капли.

– Чувствуй поводья! – крикнул сзади Роуф, когда хрястнул гром.

И Софичка, не очень понимая, что значит чувствовать поводья, на всякий случай крепче сжала их в руке.

С грохотом налетел сзади ливень, но сквозь густую листву деревьев только несколько капель шлепнуло Софичку по лицу. Воздух резко посвежел. Вдруг Софичка почувствовала рядом дыхание лошади Роуфа, почувствовала его ногу, несколько раз горячо прикоснувшуюся к ее ноге. Он что-то развернул в темноте и, не останавливая лошадь, набросил ей на плечи, и тут только она осознала, что это бурка. Она почувствовала его руки у своего подбородка и, прежде чем догадалась, что он завязывает у ее горла тесемки от бурки, прижалась к его рукам щекой. В мимолетной ласке он мазнул ладонью по ее щеке и, гикнув на ее лошадь, пустил ее вперед.

И тут ливень окончательно догнал их, и сразу же водопады дождя сверху обрушились на землю. Грохот дождя по листьям был такой сильный, что почти заглушал гром. В свете молнии вдруг высвечивались величавые струи дождя, мокрая, сбившаяся грива на трясущейся лошади, огромные бледные в свете молний стволы буков, странно сухие снизу и потемневшие от дождя наверху. Дождь барабанил по бурке так, что глушил уши. Но Софичка не испытывала никакого страха. Она все еще чувствовала руки Роуфа, завязывавшие ей на шее тесемки от бурки, и это ее сейчас веселило и вдохновляло.

– Чоу! Чоу! – громко раздавался сзади понукающий лошадей голос Роуфа.

Одна рука Софички, высовывавшаяся из бурки и державшая поводья, была мокрой, словно она окунула ее в воду.

– Не ослабляй поводья! – гремел после каждого удара грома голос Роуфа, боявшегося, что лошадь Софички испугается и понесет.

Голова у Софички была совершенно мокрая, и стекающие по лицу и затылку струйки дождя начали затекать за бурку, холодя тело. Рука, державшая поводья, настолько окоченела от дождя, что Софичка, взяв поводья в другую руку, изо всех сил терла окоченевшую о шершавую, сухую шерсть внутренней стороны бурки, чтобы кровь в руке согрелась и пальцы стали подвижны.

Внезапно секущие лицо струи дождя усилились, и грохот ливня по листьям остался позади. Софичка поняла, что они выехали на открытое пространство. Начался подъем, и лошади перешли на шаг. Копыта чмокали в потоках воды, стекавшей по склону.

– Наводнение! Наводнение! – заорал Алеша, останавливая лошадь и давая Софичке и Роуфу подъехать к себе. В свете молнии мелькнули его веселое, оскаленное лицо и рубашка, так плотно облепившая тело, что были ясно видны очертания его сильной, мужественной фигуры. «Господи, – подумала Софичка, – я под буркой и то мерзну, а как же они, бедняги!»

– Зато сам черт следа нашего не сыщет! – крикнул Роуф в ответ на слова Алеши.

– Это точно! – радостно крикнул Алеша и, словно пытаясь перекрыть дождь и согреться силой своего голоса, заорал: – Э-ге-ге-гей!

Софичка не запомнила, сколько времени они ехали. Она только помнила, что дождь лил и лил, а они ехали и ехали. Вдруг лошадь Алеши стала. Софичка тоже натянула поводья. Алеша гикнул изо всех сил, и Софичка внезапно увидела свет, мелькнувший из распахнувшейся двери дома. «Приехали!» – догадалась Софичка.

Из дверей дома выскочили какие-то люди и побежали в их сторону. Один из них под полой бурки придерживал фонарь. Ворота распахнулись, лошадей схватили под уздцы, Софичке помогли спешиться, и под громкие, радостные крики их ввели в большую кухню, озаренную огромным, уютно пылающим очагом.

В кухне было много народу, и видно было, что их давно ждут. Все были возбуждены и говорили одновременно, улыбаясь и хохоча. С Софички стащили мокрую бурку, а серебряноголовый старик, видно, хозяин дома, стал угощать их розовой чачей. Мужчины выпили по несколько стопок чачи и, став у очага, начали сушиться, сразу задымившись облаками пара. Софичка от чачи отказалась, она ее и так никогда не пила, а сейчас в чужом доме ей и подавно было стыдно ее пить.

Совсем юная девушка, как она догадывалась, сестра Алеши, отвела ее в горницу, где в маленьком очаге пылал огонь. Внеся туда мокрый чемодан Софички, она предложила ей переодеться. Но Софичка сняла только мокрые чулки и туфли, поставила их сушить у огня, а девушка принесла полотенце и стала протирать вместе с Софичкой ее волосы и лицо. Потом Софичка сидела у огня, расчесывала волосы и слушала, как в соседней комнате, где тоже горел очаг, переговаривались и переодевались Алеша и Роуф.

– Я тебя тоже заставлю промокнуть до костей, когда женюсь, – сказал Алеша.

– Я буду град глотать, когда ты женишься, – отвечал ему Роуф, и они оба расхохотались.

Потом Софичка слышала, как они раздеваются и обтираются полотенцами. Роуф, одеваясь в одежду Алеши, пожаловался, что ему брюки коротковаты. Алеша, смеясь, предложил ему носить брюки ниже поясицы, как теперь их носят городские парни. Софичка, нежно улыбаясь, слушала обрывки их разговора и, наклонившись к огню, сушила свои мокрые блестящие волосы.

Поздно ночью было устроено сравнительно небольшое застолье с десятком ближайших соседей и было выпито много вина за здоровье молодых, за их будущих детей, за их близких и дальних родственников.

Наконец гости разошлись. Софичке и Роуфу предоставили отдельную комнату, и Софичка под шум несмолкающего дождя, утомленная длинной дорогой и сбывшимся счастьем, уснула в объятиях Роуфа.

Через пять дней в доме Алеши появился дядя Сандро со своим зятем Багратом. Их вышли встречать Алеша и его отец. Они помогли им спешиться и ввели их в дом.

Приезд дяди Сандро был связан с выполнением древних абхазских обычаев. Надо было выяснить, добровольно ли Софичка сбежала из дому или была взята насильно, хотя, конечно, отсутствие чемодана ясно говорило о ее добровольном умыкании. Но все-таки надо было договориться обеим сторонам. Раньше в таких случаях платили выкуп пострадавшей, то есть потерявшей девушку стороне. Но теперь это превратилось в некую почетную формальность.

Выяснив, что Софичка вполне добровольно вышла замуж и никак не хочет возвращаться домой, дядя Сандро, уже сидя за праздничным столом, пошутил, кивая на своего зятя и Роуфа:

– Нам на полутурок везет... А этот мало что полутурок, да еще полукоршуноед.

Все рассмеялись, а Роуф ответил ему на шутку, хотя особенно разговаривать ему в присутствии родственников жены пока было не положено.

– Почему полукоршуноед, – сказал он с улыбкой, – когда я полный коршуноед?

– Тем более, – ответил дядя Сандро и, подняв стакан, провозгласил тост за хозяина дома.

Выпив по пятнадцать стаканов вина (слишком напиваться было неприлично), они договорились обо всем и уехали. По принятым обычаям у Софички спросили, кого бы она хотела видеть в качестве сопровождающих ее людей с родительской стороны, когда она поедет в дом своего мужа, где будет справляться свадьба. Софичка сказала, что она хотела бы, чтобы с ней поехали Тали, ее муж Баграт, тетя Маша и одна из ее великанских дочерей – Маяна. На том и порешили.

Через неделю в ясный, солнечный день веселая кавалькада, состоящая из двух мужчин и четырех женщин, выехала из села Бзоу и направилась в Чегем. Недалеко от Чегема дорога очень круто спускалась вниз, и Роуф сам спешился и предложил всем слезть с лошадей во избежание несчастного случая.

Все спешили, и только Софичка заупрямилась и сказала, что она спустится верхом. Этими своими словами она ставила всех, особенно мужчин, в несколько щекотливое положение. Удивляясь ее странному упрямству, Роуф посмотрел на нее, и его взгляд встретился со взглядом ее сильно и мягко сияющих глаз, и он понял, что это не каприз, а что-то другое.

– Я понимаю Софичку! – воскликнула Тали. И в самом деле она поняла ее состояние. А состояние это было безотчетным ощущением счастья и благодарности всем, кто ехал с ней, и, конечно, первым делом Роуфу. Ей ужасно захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы всем понравиться, чтобы всем захотелось сказать: «Да, да, она имеет право быть счастливой».

Лошади медленно спускались, осаживаясь на задние ноги, и Роуф, держа свою лошадь под уздцы, старался идти поближе к Софичке, чтобы в случае чего удержать ее лошадь за гриву или схватить падающую наездницу. А Софичка сидела в седле, склонившись вперед и изо всех сил упираясь в переднюю луку, и этот головокружительный спуск ее, обычно трусиху, несколько не пугал, так были велики ее счастье и любовь к мужу.

Все благополучно спустились на окраину Чегема. Все сели снова на своих лошадей, а Роуф ввиду близости дома распрощался с друзьями и кружным путем поехал к одному из соседей.

Дело в том, что по абхазским обычаям жених не может быть в доме, пока там идет свадьба. Трудно объяснить, чем вызван этот обычай. Можно предполагать, что он выражает мистическое целомудрие перед предстоящей брачной ночью. Обычай этот, отделяющий жениха от

невесты, как бы очищает воображение гостей от чувственных картин, вызванных чересчур натуралистической близостью жениха к своей невесте.

Хотя было уже темно, но метров за двести от дома Роуфа их заметили и дали знать в дом об их приближении. Несколько молодых людей вскочили на коней и поскакали в их сторону, джигитуя и стреляя в воздух из ружей и пистолетов. Неожиданно Баграт, муж Тали, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, чем до смерти напугал Софичку, которая, по-видимому, весь запас своей храбрости растратила на этот головокружительный спуск.

Вместе со всей кавалькадой, замирая от волнения, Софичка въехала во двор, где у кухни стояли старейшины этой части села, и среди них она увидела отца Роуфа, старого Хасана, и его мать. Две женщины, стоя рядом с ними, держали по керосиновому фонарю.

По двору сновали люди. Справа весь большой двор был перекрыт брезентовым навесом, под которым стояли столы и скамьи, наскоро сколоченные из досок.

Оттуда доносился разнобой голосов. Кругом стояли люди и смотрели на невесту. Кто-то взял лошадь Софички под уздцы, кто-то помог ей слезть с нее, она не замечала ничего.

Первым подошел к ней седовласый старик, старейшина всего соседства. Он поцеловал ее, благословил и как бы направил ее лицом к дому. После этого к ней подошел старый Хасан и тоже поцеловал ее, а после него к ней подошла мать Роуфа и, обняв ее, поцеловала в глаза.

Сейчас отовсюду на нее глядела толпа гостей, и Софичка, оцепенев от волнения, не знала, что делать, и, главное, решительно не знала, куда деть руки, которые висели у нее вдоль тела как совершенно лишние, тяжелые и смехотворные.

И вдруг Софичка заметила в толпе мальчугана, который принес ей весточку от Роуфа. Страшно обрадовавшись его знакомому лицу, огромным глазам ангелочка, сделавшего свое амурное дело, она вдруг забыла свои волнения и, расплывшись в улыбке, уставилась на него.

Но мальчик нахмурился, показывая неуместность ее улыбки и даже некоторую ее идиотичность, однако Софичка, ничего не понимая, продолжала ему улыбаться, и тогда мальчик, как бы для того, чтобы полностью отсечь это безобразие от себя, спрятался за спиной соседа.

Тут грянула свадебная песня, вокруг Софички затанцевали несколько молодых людей, и она, сопровождаемая свадебной песней, танцующими молодыми людьми, отцом и матерью Роуфа, пересекла двор и поднялась в дом. Одна из женщин, выделенная для этого ритуала, поджидала ее у порога и осыпала ее голову серебряной мелочью. После этого она взошла на крыльцо под скрещенными кинжалами двух парней.

В одной из комнат, ярко освещенной керосиновой лампой, Софичку поставили у стены, накинули ей на голову белый шелковый платок, и теперь она считалась Введенной в Дом.

Стали входить гости, желающие взглянуть на невесту. Некоторые из них приносили подарки: ткань на платье, домотканый ковер, новое одеяло и тому подобное. Некоторые приносили просто деньги.

Гость, приподняв платок, взглядывал на невесту, потом, насмотревшись, выпивал стопку чачи, которую ему вместе с легкой закуской преподносила Тали или Маяна, стоявшие рядом. Гость выпивал за здоровье невесты и уходил во двор, где протискивался к своему месту за пиршественным столом.

Еще до прихода гостей одна из соседок ввела в комнату того самого мальчугана, который приносил ей весточку от Роуфа. Он сел за стол с тетрадкой и карандашом. Когда стали заходить гости с подарками, он, приняв важный писарский вид, стал вписывать их фамилии в тетрадь и отмечать, кто какой подарок принес. У некоторых гостей он бесцеремонно переспрашивал фамилии и имена, и те безропотно ему подчинялись, боясь, что их приношения могут остаться безымянными.

Софичке стало ужасно смешно, что мальчик, подражая каким-то конторским работникам, важничает, склонившись над своей тетрадкой. Мальчик, заметив, что она ему улыбается

сквозь шелковую накидку, сделал вид, что ничего такого не заметил и замечать не собирается, и, нахмурившись, как бы строго сосредоточился на проверке своих записей.

А между тем внизу, во дворе, под брезентовым навесом началось свадебное пиршество. Оно началось с того, что старый Хасан, держа в одной руке заостренную палку с надетыми на нее сердцем и печенью жертвенного быка, а в другой – стакан вина, произнес языческую молитву в честь покровителя домашнего очага, прося одарить молодых здоровьем, чадородием и миром.

Вслед за ним все опорожнили свои стаканы за здоровье молодых, выбрали тамаду, и свадебное пиршество заработало разрывающими мясо зубами, жующими челюстями, чмокающими языками и влаголюбивыми глотками.

А Софичка всю ночь стояла в своей комнате, куда время от времени приходили гости взглянуть на нее, поздравить, выпить стопку чачи и снова влиться в свадебное пиршество.

Несколько раз Софичку отправляли в другую комнату отдохнуть. Лежа на кровати, она дремала и сквозь дрему слышала звуки песен, хлопанье ладоней во время танцев, вскрики застольцев и покрывающий все звуки громкий голос тамады. Через некоторое время ее снова поднимали, ибо застольцы, подчиняясь таинственным воздействиям винных паров, то забывали о невесте, то проникались неостановимой жадой увидеть ее лицо, приподняв край шелковой накидки.

Поздним утром пиршество иссякло. Днем Софичка отдыхала, а на следующую ночь пиршество возобновилось. Но теперь Софичка спала в закрытой комнате вместе со своим мужем, который тайно через заднюю дверь дома пробрался к ней. По старинным обычаям гости, как бы проникшись идеей защиты целомудрия невесты, имели в таких случаях право перехватывать жениха, полушутя (но достаточно надоедливо) мешать его попыткам соединиться с невестой.

Хорошо жилось Софичке в доме Роуфа. И старый Хасан, и его жена Хамсада, и брат Роуфа Шамиль, и его жена Камачич, и двое их детей – все любили Софичку. И как можно ее не полюбить, миловидную, мягкую, услужливую Софичку, целыми днями занятую в доме, на огороде, на приусадебном участке. Стоит ли говорить, что ее дар любви ко всем ближним разгорелся ровным, сильным пламенем в этом добром доме.

Роуф любил подшучивать над всеми, и нередко его шутки были обращены на Софичку. Софичке нравилась эта его черта, хотя она и не всегда понимала его шутки. Так в один из первых дней ее пребывания в доме мужа он попросил у нее:

– Не приготовишь ли ты нам коршуна?

– Давайте, – сказала Софичка, не ожидая подвоха и, главное, не видя в своих словах ничего смешного.

Но все почему-то дружно расхохотались, пояснив ей, что в этом году уже коршунов не будет, что придется ждать перелета до следующего сезона. Ну, ждать так ждать, что тут смешного? Но Роуф стал всем разъяснять, как она вздохнула, с какой печальной покорностью и даже обреченностью она дала согласие приготовить коршуна и сколько душевных сил ей стоило преодолеть родовую неприязнь к этой вкусной птице, свойственную жителям западного Чегема. Хотя Софичке казалось, что она Роуфу ответила обычным голосом, она поверила ему и решила, что в самом деле выразила свое согласие обреченным голосом, да еще как бы зная, что коршунов уже нет.

Этой своей склонностью к шутке он напоминал ей дядю Кязыма и от этого казался ей еще роднее и любимее. Правда, надо сказать, что шутки дяди Кязыма обычно бывали жестче. Но все равно Софичка находила в Роуфе что-то общее с дядей Кязымом, и это ей нравилось, потому что она и дядю Кязыма очень любила. Ведь, в сущности, он ей заменил отца.

Около года Софичка и Роуф прожили в доме его отца. За это время Роуф и его брат Шамиль построили дом поблизости от дома тети Маши. Когда они с Роуфом переехали жить в свой дом, Софичка была рада, что она живет собственным домом да еще поблизости от своих.

Она была рада бывать у тети Маши, в Большом Доме дедушки и у всех остальных. Но и дом старого Хасана она тоже не забывала и туда успевала приходить время от времени.

За год замужества Софичка испытала только одно сильное потрясение. Возвращаясь с кувшином воды от родника, она поскользнулась и упала, и у нее был выкидыш. Софичка погоревала с неделю, а потом постепенно успокоилась. Она решила, что у них с Роуфом вся жизнь впереди и у нее еще будет много времени, чтобы завести детей. Если б она знала, что ей предстоит!

В то утро, позавтракав с мужем, Софичка отправилась на огород, а Роуф, взяв топор, поднялся в лес. Он собрался срубить огромный бук, распилить его и пустить на доски. Он его давно выбрал в лесу, еще когда строили дом, отметил и собирался срубить, чтобы наделать досок для кукурузного амбара.

Был чистый, уже совсем весенний, февральский день. Нежным розовым цветом цвели персики и алыча, курчавая травка пушилась на дворе и на склоне горы под верхнечегемской дорогой.

Софичка вскапывала огород и сажала семена цицмата, укропа, петрушки и кинзы. Вдруг Софичка случайно подняла голову и увидела на склоне горы, недалеко от дома Адгура, спускающегося вниз Роуфа. Сердце у нее неожиданно сжалось от боли. Она никак не могла понять, почему он так быстро возвращается домой.

И что-то странное было в его далекой походке. Он шел как-то слишком осторожно и даже вроде покачиваясь. И почему-то одну руку прижимал к шее. И вдруг у Софички мелькнула догадка: он пьян! Где же он мог выпить с утра? Ну конечно, в доме Адгура! Он проходил мимо его дома, когда собирался в лес, а у Адгура, видно, были гости, и он, увидев Роуфа, позвал его к себе! Ведь сам он болен и пить не может. Вот он и решил, что Роуф по-соседски поддержит стол. Пока она об этом думала, Роуф прошел склон и скрылся возле родника, где тропа поднималась к их дому.

Как только Роуф скрылся, какая-то черная тревога снова сжала сердце Софички. Яркий день потускнел, словно солнце зашло за тучу. Как-то странно он шел. Она вдруг поняла, что за какой-то час или полтора с тех пор, как он ушел из дому, он никак не мог так опьянеть. Такого за абхазским застольем никогда не бывает. И почему он все время рукой придерживал шею?

Опершись о лопату, Софичка, словно окаменев, стояла на огороде. Вот он появился у ворот, все так же придерживая шею и, словно в темноте, неверно ступая по тропе. И вдруг Софичка, как в страшном сне, заметила, что рука Роуфа, придерживающая шею, вся в крови.

– Что с тобой! – закричала она не своим голосом и побежала к нему.

Она распахнула ворота и обняла его.

– Что с тобой?! – повторила она в отчаянии, теперь заметив, что не только ладонь, но и все плечо, и рукав свитера залиты кровью.

– Ничего, – тихо сказал Роуф, продолжая придерживать шею, – не пугайся.

Лицо у него было бледно-серое. Почти теряя сознание от ужаса, она ввела его во двор. Он остановился посреди двора, покачиваясь и продолжая придерживать кровавой ладонью шею.

– Доведи меня до постели, – сказал он, и Софичка вдруг поняла, что он почти ничего не видит, хотя глаза у него открыты. Она почувствовала, что сознание мгновениями приходит к нему, а мгновениями уходит. Она схватила его под руку и повела к дому. Он так тяжело на нее опирался! Как только он дошел до дому!

Она хотела положить его на кровать, но он тяжело сел на нее и не захотел ложиться.

– Я все перепачкаю, – сказал он, – помоги раздеться.

Он беспомощно, как ребенок, поднял руки, и она стянула с него тяжелый от крови свитер. Потом она ему помогла стянуть брюки и носки. Он лег. Вся шея его была залита кровью, и она увидела глубокую рану под правым ухом. Кровь продолжала оттуда капать, и он снова прикрыл рану ладонью.

– Как это ты? – вскрикнула Софичка.

– Потом, – сказал он, – перевяжи чем-нибудь.

Софичка залезла в шкаф и достала чистую простыню. Она начала ее разрезать ножницами, но поняла, что ножницы слишком медленно режут, и стала рвать простыню на длинные куски. Она принесла из кухни кувшин, плеснула из него на кусок простыни и стала ею протирать его окровавленную шею. Тут она убедилась, что много крови затекло под рубашку, стянула ее с него и снова, плеща водой на кусок чистой простыни, протерла, промыла все его тело.

Потом новым чистым куском простыни она перевязала ему шею. Во время перевязки он только тихо постанывал.

– Сейчас хорошо, – сказал он после перевязки, вытягиваясь на постели. Через минуту его стал колотить озноб.

– Как это ты? – спросила она.

Роуф рассказал ей, что случилось. Оказывается, когда он подошел в лесу к своему дереву, он увидел, что его рубит ее брат Нури. Он его уже наполовину перерубил. Роуф показал ему на зарубку, которую он оставил на дереве. На это Нури ему ответил, что ему рано делать зарубки на деревьях в их краю Чегема, пусть делает зарубки там, где живут коршуноеды. Слово за слово, и Нури, и оттого, что был по природе горяч, и оттого, что с самого начала невзлюбил Роуфа, и оттого, что он сейчас был не прав, пыхнул и швырнул в Роуфа топор. Топор пролетел мимо головы Роуфа, чиркнув лезвием его по шее. Вот все, что случилось.

Пока он рассказывал, повязка на его шее вся пропиталась кровью, и кровь стала капать на подушку. Софичка сняла с его шеи повязку, промыла рану и снова завязала ему шею новым куском простыни. Она перевернула под ним окровавленную подушку и, став на колени у его изголовья, стала гладить ему волосы. Он это любил.

– Вот так хорошо, – сказал Роуф и положил руку ей на плечо. В руке была мертвая тяжесть. Он лежал, закрыв глаза, слегка постанывая. Но озноб как будто унялся.

Софичка попыталась встать, чтобы крикнуть тетю Машу, но он слабым движением руки на ее плече дал знать, что хочет, чтобы она продолжала его гладить по голове. Он тихо постанывал, она продолжала его гладить по голове и вдруг, взглянув на повязку, обмерла: она была вся в крови. Она вскочила, сняла повязку, обтерла шею, где из маленькой ранки, как из маленького, но глубокого родника какая-то сила все выталкивала и выталкивала кровь. Она снова перевязала ему шею, принесла чистую подушку и, поддерживая его голову, вытащила из-под него окровавленную подушку и заменила ее свежей.

Софичка поняла, что надо кричать людей, что она одна не справится. Она выскочила на веранду и закричала тете Маше как ближайшей соседке:

– У нас несчастье! Роуф ранен! Передай дяде Кязиму, пусть сейчас же едет за доктором!

– Софичка, пить! – попросил Роуф, когда она вбежала в комнату.

Софичка побежала на кухню, налила в чайник кислого молока из кастрюли, вбежала в горницу и долила в кислое молоко воды из кувшина. Она знала, что вода с кислым молоком лучше утоляет жажду. Перелила из чайника эту смесь в стакан и подала ему. Он выпил целых три стакана.

Пока она его поила, она слышала голос тети Маши, кричащей в Большой Дом о постигшем Софичку несчастье. Повязка на шее неумолимо закрашивалась кровью.

Она присела рядом с ним на кровать и снова стала гладить ему голову. И вдруг, ужасаясь самой себе, подумала: он это так любил при жизни!

– Софичка, – сказал он очень тихо, но очень вразумительно, – сейчас сюда нагрянут люди, и я боюсь, что мы не успеем поговорить... Если со мной что случится...

– Роуф, что ты говоришь! – вскричала Софичка.

– Если со мной что случится, – упрямо повторил Роуф, – ты все равно люби меня...

– Что ты говоришь, Роуф! – закричала Софичка. – С тобой ничего не случится!

– Все равно люби меня, – жестко повторил Роуф, – даже если выйдешь замуж, все равно люби меня...

– Роуф, – сказала Софичка, изо всех сил глотая подступающие рыдания, – я никогда, никогда не выйду замуж... Но ты не умрешь, не может быть, чтобы ты умер из-за такой ранки...

– Не знаю, – сказал Роуф, как бы успокоенный ее словами, – но я хочу, чтобы ты меня всегда любила... Дай напиток...

Софичка поднесла к его губам прохладительный напиток, и он жадно выпил два стакана. Потом он закрыл глаза и как будто забылся. Она гладила и гладила ему голову. Но повязка опять насквозь промокла кровью, и она опять ее сменила. Он продолжал находиться в забытии и вдруг ясно сказал:

– Пора пахать...

Он это сказал, не открывая глаз, и Софичка не могла понять, к чему он это сказал. Пахать и в самом деле было пора, но он это так сказал, как будто оттуда ему виднее и он это говорит остающимся здесь.

– Меня все ваши полюбили, – вдруг сказал он, открывая глаза, – только он один меня чего-то невзлюбил... Я был сильнее... Может, поэтому...

– Я ему этого никогда в жизни не прошу, – сказала Софичка, – он мне не брат.

Роуф лежал с закрытыми глазами, изредка тихо постанывая.

– Не прощай, – вдруг сказал он внятно, открыв глаза, – но мстить не надо... Скажи брату: «Мстить не надо... Кровь – нехорошо...» Из меня вышло столько крови... Кровь – нехорошо...

– С тобой ничего не будет! – закричала Софичка. – Тебя вылечит доктор...

– Да, – согласился Роуф, – но ты меня всегда люби... Собаку не забывай кормить.

Прикрыв ладонью рот, Софичка беззвучно рыдала у его постели, когда в дом вбежали тетя Маша, тетя Нуца и дядя Кязым. Роуф уже не приходил в себя. Иногда он в бреду говорил какие-то слова, но разобрать их было невозможно. Дядя Кязым поехал за доктором в Анастасовку.

Роуф еще дышал редкими, глубокими вздохами, когда во дворе раздавался вой собаки. Все поняли, что это конец. Собаку прогнали со двора, она убежала вниз к роднику, и оттуда время от времени раздавался ее пронзительный вой. Роуф умер за час до приезда дяди Кязыма и доктора. Доктор сказал, что все равно уже ничего нельзя было сделать – он потерял слишком много крови.

Черное отчаяние сдавило душу Софички. Она ничего не видела, ничего не понимала, не могла плакать. Покойника вымыли, переодели, положили в гроб. Трое суток приходили люди прощаться, их встречали, сажали за поминальные столы, но Софичка ничего не понимала. И только на третьи сутки она затряслась в беззвучном плаче, когда во двор, громко рыдая, вошел Алеша. Она вспомнила с такой яркостью и резкостью тот вечер, тот ливень, ту ночь на лошадях, она вспомнила, как Роуф накидывал на нее бурку, как его пальцы завязывали тесемки на ее шее, и, словно только сейчас поняв, что его больше не будет, затряслась, зашлась в самом страшном беззвучном плаче.

А между тем в траурной толпе гостей уже перешептывались о том, что брат Роуфа Шамиль не пришел попрощаться с мертвым братом. Это было верным признаком того, что он готовится к кровной мести. По древним законам кровной мести брат не может оплакивать смерть брата, не отомстив за его смерть.

На следующий день после похорон дядя Кязым пришел к Софичке. Тетя Маша оставалась с Софичкой ночевать.

– Софичка, – сказал дядя Кязым, усаживаясь у огня и свертывая сигарку, – ты должна сделать одно дело.

– Что? – спросила Софичка, глядя на него окаменевшими от горя глазами.

– Софичка, – повторил он, – ты должна попытаться остановить кровную месть... Если Шамиль решится убить Нури, наши тоже на этом не остановятся... Слишком много крови прольется... Попробуй с ним поговорить... Мы накажем сами этого дурака...

– Как вы его накажете? – спросила Софичка.

Дядя Кязым склонился к очагу, достал дымящуюся головешку, прикурил и снова бросил ее в очаг.

– Мы его выгоним из Чегема, чтобы он до конца своих дней здесь не бывал и нигде никогда не встречался с людьми нашего рода.

– Хорошо, – согласилась Софичка, – я передам им об этом. Но передайте Нури, что он мне больше не брат, что я до конца своих дней не прощу ему это убийство и видеть его не хочу ни на этом, ни на том свете.

– Передам, – твердо ответил дядя Кязым и затянулся сигаркой.

– Мой муж тоже не хотел крови, – сказала Софичка, задумавшись, – он мне об этом сказал перед смертью...

– Не ты его одна потеряла, Софичка, – сказал дядя Кязым, – мы все его успели полюбить...

– Да, – согласилась Софичка, – он и об этом сказал перед смертью... Все, кроме Нури...

– Не будем о нем вспоминать, – сказал дядя Кязым, – пусть узнает, что значит проклятие рода, пусть живет всю жизнь с чужими людьми... А ты иди и поговори.

– Хорошо, я пойду, – согласилась Софичка, глядя на огонь очага.

Дядя Кязым ушел, и Софичка собралась в дорогу. Необходимость что-то делать оживила ее умертвленную горем душу.

– Еще раз попробуй накормить собаку, – сказала Софичка тете Маше, уходя из дому.

– Не беспокойся, я постараюсь, – ответила тетя Маша.

Четвертый день после смерти Роуфа его собака ничего не ела. В первый день она выла, а потом, смущенная обилием людей, которые приходили проститься с покойником, она перестала выть и лежала под домом. Несколько раз ее пытались кормить, но она не принимала еду. Софичка сама сегодня утром пыталась ее накормить, но она даже не понюхала брошенную ей мамалыгу, а только виновато посмотрела на Софичку, вяло вильнула хвостом.

В черном платье, в черной жакетке, Софичка шла по верхнечегемской дороге и думала о предстоящем разговоре в доме старого Хасана. Ее назойливо преследовали слова старинной абхазской песни:

За убитого поутру
Отомстивший до полудня...

Она сейчас ненавидела своего брата, но все-таки смерти его не желала. Вид крови и смерти любимого мужа внушил ей такой живой ужас, что она боялась, что все это может повториться.

Она понимала, что значит говорить об этом с его родным братом, уже поклявшимся отомстить за кровь брата. Но она знала, что совесть ее чиста, потому что ее любимый муж не хотел крови, и она понимала, что род ее сейчас ждет ее помощи, чтобы остановить кровь. Потому что, если Шамиль убьет Нури, кто-нибудь из ее двоюродных братьев постарается убить Шамиля, и так пойдет. Только сейчас можно остановить кровь. И в странном несоответствии с тем, что она хотела, в голове ее звучало гордой траурной музыкой:

За убитого поутру
Отомстивший до полудня...

Она подошла к дому старого Хасана. «Если б мы продолжали здесь жить, ничего бы не случилось, – подумала Софичка, – это я просила перебраться поближе к нашим». Над кухонной крышей стоял дым, и Софичка прошла прямо в кухню.

Она открыла дверь и увидела старого Хасана, сидевшего у огня, держась руками за голову. На той же скамье, скрестив руки на груди, сидела его жена Хамсада. Жена Шамиля, наклонившись над котлом, висевшим на огне, готовила мамалыгу, а сам Шамиль полулежал на кушетке.

Старуха, увидев ее, пошла ей навстречу, и они, обнявшись, заплакали. А старый Хасан сказал:

– Софичка, не забывай нас. Приходи к нам, как к себе домой...

– Зачем мы ушли отсюда? – промолвила Софичка и снова беззвучно зарыдала.

– Это судьба, – сказал старый Хасан, – а от судьбы не уйдешь.

Софичку посадили у огня, и она рассказала все, что ей передал дядя Кязым. Ее выслушали молча.

– Брат твой тоже не хотел крови, – сказала Софичка, повернувшись к Шамилю, – он мне об этом сказал перед смертью.

– Но твой брат пролил его кровь, – жестко поправил ее Шамиль.

– Я дала слово своему покойному мужу до смерти не прощать ему эту смерть, – сказала Софичка, – нет у меня брата. Он умер раньше моего мужа.

– Вот и я ему говорю: оставь! – добавил старый Хасан. – Ты свою мать убьешь, а не Нури. Ведь если ты его убьешь, они тебя тоже убьют...

– Пусть, – глухо вымолвил Шамиль, – я выполню свой долг, а там будь что будет.

– Мать свою пожалей, – терпеливо напомнил старый Хасан, – о себе я не говорю. Кроме тебя, у нас теперь нет детей...

– Кровь брата не даст мне жить, – сказал Шамиль, – и как я на людей буду смотреть?

– Люди тебе ничего не скажут, – снова обратился к сыну старый Хасан, – сейчас другое время. И учти, брат твой перед смертью об этом просил. Софичка не соврет.

– И этот подлец, швыряющий в человека топор, как в бешеную собаку, будет жить?! – воскликнул Шамиль, но Софичка почему-то поняла, что здесь вершина его гнева и он выше не поднимется.

– Он проклят нашим родом, – сказала Софичка, – а я до смерти ему этого не прощу.

Шамиль слушал, нахмутив брови.

– И твой брат не хотел крови, – напомнил старый Хасан, – Софичка этого придумать не могла.

– Он сказал: «Передай брату – мстить не надо», – сказала Софичка, – он сказал: «Кровь – это нехорошо».

– Ладно, – мрачно согласился Шамиль, – я не пролью его кровь, раз мой брат этого не хотел. Пусть твой брат убирается из нашего села и никогда не попадается мне на глаза, потому что я тогда не отвечаю за себя. Так и передай им, Софичка. Я иду на это ради тебя, ради своего брата. Я знаю, как вы друг друга любили.

– Я буду до конца жизни своей любить его, – сказала Софичка.

– Нам всем больше ничего не остается, – добавил старый Хасан.

С этим Софичка и ушла. Она чувствовала, что это посещение было нужно не только ее родне, но и всей семье старого Хасана. Отец и мать, потеряв одного сына, сейчас больше всего боялись в результате кровной резни потерять и второго. Она чувствовала, что сделала угодное Богу дело и выполнила предсмертное желание мужа. Брату она никогда, никогда не простит, но смерти его она не хотела. Да, не хотела.

Софичка вернулась домой и рассказала обо всем тете Маше. Тетя Маша встала, чтобы пойти в Большой Дом и передать им слова Софички.

– Пыталась кормить вашу собаку, – сказала она, уходя, – не кушает ничего.

Софичка взяла чугунок с молоком, вышла во двор и вылила часть молока в долбленое корытце, стоявшее недалеко от крыльца. Она подумала, что, может, собака захочет полакать молоко. Собака лежала под домом и следила за ней. Когда Софичка возвращалась на кухню, их взгляды встретились, и собака виновато опустила голову.

Софичка вошла в кухню и тяжело опустилась на кушетку. Теперь, когда она выполнила свой долг и спасла обе стороны от смертоубийства, на нее снова навалилось отчаяние. Будь она более замкнута на себе, почувствуй она, что жизнь ее целиком и полностью принадлежит ей, она бы пришла к мысли покончить с этой жизнью. Но она никогда не ощущала и не могла ощущать свою жизнь как нечто, принадлежащее только ей, и потому даже сейчас, когда погиб тот, кому она и ее жизнь больше всего принадлежали и кого она любила больше своей жизни, она все равно об этом не думала, потому что то, что осталось от ее жизни, все равно не принадлежало ей одной, а принадлежало и дедушке, и дяде Кязыму, и старому Хасану, и всем близким. И поэтому, несмотря на ощущение полной пустоты и бессмысленности жизни, мысль о самоубийстве не приходила ей в голову.

Она долго так сидела, уронив руки на колени, и обрывки жизни с Роуфом мелькали у нее в голове, сопровождаемые пронзительной печалью, как это бывает во сне, когда мы видим близкого человека, полного радости жизни, и в то же время знаем, что он умер, что его уже нет.

Софичка приподняла голову, и случайно взгляд ее упал на окно. Она увидела, что собака Роуфа подошла к корытцу и, как бы преодолевая равнодушие, неохотно хлебала молоко. Похлебав его с минуту, она угрюмо поплелась под дом, как бы говоря своей походкой: если уж тебе так хочется, чтобы я жила, я буду жить.

И Софичка встала, взяла кувшин и пошла на родник за водой. Она принесла несколько кувшинов воды и перелила их в ведра. Она принялась мыть в доме полы, затоптанные многочисленными людьми, приходившими попрощаться с ее мужем. Потом она достала из кладовки кукурузные початки и, сев у огня, стала вылушивать прямо в подол. Налушив дюжину початков, она вышла во двор и, придерживая подол, стала сзывать кур. Оголодавшие куры мигом слетелись к ее ногам. Разбросав зерна и отряхнув подол, она вернулась на кухню и поставила к огню чугунок с фасолью.

Вечером она впустила во двор корову и впервые за эти дни сама подоила ее. Все это время корову доила тетя Маша. Как обычно, она сначала пустила под корову теленка и, дав ему немного пососать от каждого сосца, принялась доить сама, время от времени отгоняя теленка хворостинкой.

Подоив корову, она вернулась на кухню, перелила молоко сквозь цедилку в чугунный котел и поставила его на огонь. Потом она достала из банки ложку сычужного раствора и влила его в молоко. Вымыв тщательно руки и вытерев их полотенцем, она засучила рукава и окунула руки в молоко. Из молока стали выплывать маленькие кусочки сыра, она стала собирать их и лепить из них большой ком сочащегося свежего сыра. Она переложила его в большую тарелку, придав ему обычную, округлую форму сулугуни.

Потом она посолила и наперчила фасоль, поставила на огонь заварку мамалыги, сварила ее, и, когда мамалыжной лопаткой по привычке переложила две порции в тарелки, она снова все вспомнила и беззвучно заплакала. Беззвучно плача, она поужинала фасолевым соусом и кислым молоком. Убрала остатки ужина в шкаф.

Продолжая беззвучно плакать, она вышла во двор и кинула собаке кусок мамалыги. Собака привстала и неохотно съела мамалыгу. Софичка отогнала от коровы теленка и перегнала корову за ворота на скотный двор.

Софичка вернулась в дом, достала фотокарточку Роуфа, которую он когда-то прислал из армии, и, придя с ней на кухню, села у очага и стала ее рассматривать. Это была единственная фотокарточка, которая от него осталась. Здесь он был снят с неведомым другом, русским крас-

ноармейцем. И хотя вид у него на этой фотокарточке был довольно бравый, сейчас Софичке он казался чересчур грустным. Казалось, здесь, на этой давней фотографии, присланной из армии, он уже знает о своем печальном конце. Она собиралась поехать в город и сделать из этой фотографии большую, но такую, чтобы он на ней улыбался. Ведь он так любил смеяться, подшучивать, и ему так шла улыбка, и она хотела, чтобы он на фотографии навсегда остался улыбающимся.

За этим занятием ее застала тетя Маша. Она была в Большом Доме, где собрались родственники и приняли решение об изгнании Нури из села и родственного окружения. Он признал себя во всем виноватым и завтра рано утром уедет в город Мухус, где будет отныне жить и устраиваться на работу. Такова воля рода, выраженная дедом Хабугом и поддержанная всеми родственниками. Чунку, двоюродного брата Софички, едва удержали. Он пытался убить Нури, но старый Хабуг запер его в чулане.

– Пусть скажет спасибо, что удержала Шамиля от крови! – сказала Софичка, довольная быстрым и бескровным наказанием брата.

– Он хочет перед отъездом попросить у тебя прощения и попрощаться с тобой, – добавила тетя Маша.

– Он сошел с ума! – воскликнула Софичка. – Ни на этом, ни на том свете не будет ему от меня прощения! Пусть скажет спасибо, что закону не пожаловалась. Его упекли бы в Сибирь.

– Ну зачем же в наши родственные дела мешать закон? – сказала тетя Маша.

– То-то же, – отвечала Софичка, – пусть навсегда сгинет с наших глаз, убийца!

– Все же родная кровь, – вставила тетя Маша, – и он тебя так любит.

– Я ему своего мужа никогда не прощу, – сказала Софичка, вглядываясь в карточку, словно ища у Роуфа одобрения своим словам.

– А ну покажи, – сказала тетя Маша и взяла в руки карточку. – А это кто с ним, что-то я его не узнаю? – удивилась тетя Маша.

– А это русский, – пояснила Софичка, – они вместе служили. Я хочу завтра поехать в город и переснять эту карточку. Хочу, чтобы сделали большую и чтобы он улыбался, а то здесь он очень суров. А ведь при жизни он так любил посмеяться, пошутить.

– В городе сделают, – уверенно сказала тетя Маша, – как закажешь, так и сделают. Им только плати деньги.

– Вот я и поеду завтра, – сказала Софичка и, привстав, осторожно поставила карточку на карниз очага.

– Так мне оставаться или идти к себе?

– Иди, иди, тетя Маша, – отвечала Софичка, – я одна не боюсь.

– А там, если захочешь, пришлю кого из моих девок, – сказала тетя Маша, вставая, – ты только скажи, я пришлю любую.

– Хорошо, тетя Маша, – сказала Софичка, провожая ее до веранды.

– А что собака, – спросила тетя Маша, осторожно ступая по ступенькам крыльца, – стала есть?

– Да, – ответила Софичка, – сегодня немного поела.

– Надо же, – уже из темноты сказала тетя Маша, – собака, а горе чувствует, как человек.

– А его все любили! – горячо начала Софичка, но тетя Маша исчезла в темноте, и Софичка замолкла.

На следующее утро Софичка встала, умылась, подоила корову, выгнала ее со двора, накормила кур и приготовила себе завтрак. Она съела вчерашнюю порцию мамалыги, которую по привычке предназначила Роуфу. Она съела ее с фасолевым соусом и свежим сыром, обмазанным аджикой. Остатки мамалыги она вынесла собаке. Собака лежала перед домом. Софичка бросила ей мамалыги, собака встала, понюхала ее и, как бы преодолевая отвращение, съела. И Софичка почувствовала стыд за свой аппетит.

Софичка надела жакет поверх траурного платья, надела на ноги свои уже хорошо разношенные красные туфли, взяла денег и взяла фотокарточку, стоявшую на карнизе очага.

Она сначала хотела вырезать изображение мужа на фотографии, чтобы фотограф по ошибке не переснял его товарища. Но потом пожалела фотокарточку и не захотела отделять Роуфа от его армейского друга и очертила карандашом изображение Роуфа, чтобы фотограф не ошибся. Деньги и фотокарточку она положила во внутренний карман жакетки и вышла из дому.

День был солнечный, ясный. Софичка быстро, за какие-нибудь полтора часа, спустилась в местечко Наа, переправилась на пароме через Кодор, дождалась рейсовой машины и приехала в Мухус.

Еще когда она дожидалась машину в Анастасовке, к ней подошел какой-то парень и спросил по-русски:

– Ты из Чегема?

– Да.

– Ты не жена погибшего Роуфа?

– Да, – сказала Софичка, – ты его знал?

– Три года назад мы вместе в скачках участвовали. Какой был парень! Я его, как брата, любил.

– А его все любили, – светло ответила Софичка, – все на свете.

– Да, – скорбно согласился парень и, показывая, что он об этом деле знает гораздо больше, чем может показаться, добавил: – А брата милиция забрала?

– Нет, – сказала Софичка, – зачем нам жаловаться закону. Мы его изгнали из нашего рода. Он теперь мертвей мертвого. Мертвого хоть близкие оплачут.

– Ты смотри, как получилось, – вздохнул парень, – я только вчера узнал, а то поднялся бы оплакать его.

– Да, – невольно похвасталась Софичка, – из многих сел приехали. Из Мухуса, из Кенгурска. Даже начальник кенгурского военкомата был.

– А ты сама в Мухус едешь?

– Да, – сказала Софичка и достала фотокарточку, – хочу большую сделать, чтобы он смеялся, а то здесь он скучноватый. А он так любил посмеяться.

– Но разве они могут сделать, чтобы он смеялся? – усомнился парень, взглянув на фотокарточку.

– Конечно, – уверенно сказала Софичка, – они любую могут сделать. Дяде Сандро сделали фотокарточку, как будто он на коне и с шашкой мчится в бой. А в это время его конь пасся себе в котловине Сабида. И конь получился в масть.

– Да, но... – усомнился парень, однако не стал уточнять свои сомнения.

Автобус привез ее в Мухус. Софичка шла по главной улице города. Грохотали грузовики, визжали легковые автомашины и цокали по асфальту лошади фаэтонщиков. Люди так и шныряли по тротуарам. Она подошла к стеклянной витрине фотоателье и посмотрела на выставленные там фотографии. Она не стала рассматривать там всяких девиц, женихов и невест, пузанчиков с мячами, а обратила внимание на большую фотографию величиной чуть ли не с газетный лист, изображающую усатое лицо важного старика. Вот такой величины фотографию Роуфа ей хотелось бы иметь.

Софичка открыла дверь и вошла в приемную фотоателье. В большой светлой комнате рядом с зеркалом стоял столик, и за ним сидела молодая девушка. На стенах висели фотографии разных размеров, и люди, изображенные на них, часто улыбались, а то и просто хохотали.

– Здравствуйте, – сказала Софичка и подошла к девушке за столиком. Та читала книжку.

– Здравствуйте, – ответила девушка, отрываясь от книги.

Софичка вытащила из кармана фотокарточку, положила ее на стол и ткнула пальцем в Роуфа.

– Я хочу, чтобы сделали его большую карточку, – сказала Софичка.

– Хорошо, – ответила девушка.

– Вот такую, – сказала Софичка и показала на фотографию смеющегося человека, висевшую на стене.

– Хорошо, – повторила девушка и приготовилась выписывать ей квитанцию.

– Но я хочу, чтобы он смеялся на ней, – уточнила Софичка.

Девушка снова взглянула на фотографию, лежащую на столе, и подняла на Софичку удивленный взгляд.

– Это невозможно, – сказала она, – мы можем сделать такую же, только большего размера.

– Нет, – ответила Софичка, – мне надо, чтобы он смеялся.

– Это невозможно, – ответила девушка, – мы такие не делаем.

– А кто делает такие?

– Никто, – сказала девушка и снова взялась за книгу.

Софичка почувствовала: от нее хотят отделаться. Им просто лень менять суровое лицо на улыбающееся, вот и выдумывают.

– Моего дядю фотографировали с шашкой на лошади, – настойчиво пояснила Софичка, – а в это время его лошадь паслась в котловине Сабида. И лошадь в масть получилась, и шашка, которую он никогда в руках не держал.

– Это совсем другое, – сказала девушка, – вот вернется он из армии, пусть заходит, и мы ему сделаем улыбающуюся фотографию.

– Он уже давно вернулся из армии, он умер, – сказала Софичка таким обезоруживающим голосом, что девушке стало жалко ее. Теперь она обратила внимание на ее черное платье и выражение глаз загнанной косули.

– Кто он вам? – спросила девушка.

– Муж мой, – сказала Софичка.

– Я сейчас поговорю с фотографом, – неожиданно для себя вымолвила девушка, чтобы как-то смягчить отказ. Ей стало очень жалко эту молоденькую вдову.

– Ты ему скажи, что я за деньгами не постою, – попыталась ее воодушевить Софичка.

– Дело не в деньгах, – грустно сказала девушка и, взяв фотографию, ушла в другую комнату.

Через некоторое время она вышла оттуда с человеком в черном халате, и Софичка решила, что он фотограф умерших людей.

– Мы не можем вам помочь, – сказал он, кладя фотографию на стол, – чтобы на большой фотографии он улыбался, надо, чтобы улыбка была и на маленькой.

У Софички был такой убитый вид, что у него мелькнула и погасла авантюрная мысль подретушировать улыбку.

– Поймите, девушка, – сказал он, – такого вам никто нигде не сделает. Мы можем только увеличить.

– Видно, ему недолго было суждено смеяться, – сказала Софичка в глубокой задумчивости, – делайте тогда так, как есть.

Она так сильно опечалилась, что не заметила, как девушка выписала квитанцию, забрала у нее деньги, вернула сдачу и предупредила, чтобы она приезжала через десять дней.

Софичка поспешила на автостанцию. Она снова вспомнила бравую фотографию дяди Сандро на коне, поднятом на дыбы, и с шашкой в руке. И конь был точно в масть, хотя дядя Сандро не приводил его к фотографу, но, видно, хорошо им описал его. Видно, с живыми они могут делать все, что хотят, а с мертвыми не могут. Так решила Софичка, возвращаясь на автобусе в Анастасовку.

Она поднялась в Чегем и, проходя мимо Большого Дома, на скотном дворе увидела дядю Кязыма. Он ей сказал, что завтра будет сооружать могильную ограду. Коля и жерди уже вытесаны.

Софичка спустилась к себе домой, вошла на кухню, разожгла огонь и приготовила мамалыгу. Она поела, чувствуя, что сильно проголодалась в дороге. Вынесла остатки мамалыги собаке. Бросила под крыльцом. Собака медленно вышла из-под дома и опять, как бы давясь от отвращения, съела мамалыгу. Софичке снова стало совестно за свой аппетит. «Неужели собака любила его больше, чем я? – подумала она. – Нет, – решила она, – собака не могла любить Роуфа больше меня, но собаку от горя ничего не отвлекает».

Потом она взяла лопату и поднялась в чащу над верхнечегемской дорогой. Она решила выкопать саженец лавровишни и посадить его над могилой мужа. Траурно-глянцевитые вечнозеленые листья лавровишни ей казались наиболее уместными. Он и встретился ей первый раз в жизни лицом к лицу с веткой лавровишни в руке.

Она нашла крепкий росток лавровишни и аккуратно, чтобы не повредить корней, откопала его. Она вернулась с ростком домой. Дома она прихватила кувшин и спустилась вниз, где в конце приусадебного участка, недалеко от родника, был по ее воле похоронен муж. На расстоянии примерно метра от могилы она вырыла лопатой ямку, посадила туда росток лавровишни и завалила корни землей. А потом, ладонями вминая землю вокруг ростка, закрепила его на месте.

После этого, отряхнув ладони, она постояла над могилой мужа и рассказала ему все, что приключилось за последние дни. Рассказала, что исполнен его наказ не проливать кровь, рассказала, что Нури навечно изгнан из рода, рассказала про неудачу с его портретом, рассказала, что собака наконец начала есть, про все рассказала.

Рассказывая, она тихо плакала над его могилой и впервые чувствовала, что слезы облегчают ей душу. Потом она нарвала папоротниковых стеблей, спустилась к роднику, набрала воды тыквенной кубышкой, стоящей на поверхности родника, положила на плечо папоротниковую прокладку, взгромоздила туда кувшин с водой и пошла назад. Придерживая одной рукой кувшин, она одолела перелаз и оказалась на своем участке. Подойдя к могиле, она сняла с плеча кувшин, полила росток лавровишни, снова взгромоздила его на плечо и, подхватив лопату, поднялась к себе домой. И впервые после смерти мужа ей показалось, что кувшин стал намного легче, даже учитывая, что часть воды она употребила на полив ростка. Она подумала, что это его душа, витающая тут, помогает ей, потому что одобряет все, что она сделала.

Собака Роуфа – это был крупный пес по кличке Волк неизвестной Софичке породы – вскоре стала ходить на могилу своего хозяина и целыми сутками сидеть возле нее. Раз в день собака приходила домой поест и снова уходила на могилу хозяина. Там иногда она вела себя, гоня ворон, ежей и зайца, забредшего полакомиться фасолью. Домашних кур, которые тоже там иногда паслись, она не трогала, но, если они слишком близко подходили к могиле, она, не вставая, грозным взрыком прогоняла их. Иногда она заливалась лаем, увидев мимоезжего всадника или редкого путника, подошедшего к роднику, чтобы выпить свежей воды.

Могила была у самой изгороди усадьбы, в десяти метрах от родника и тропы, проходящей мимо него, но за изгородь собака никогда не выпрыгивала.

Софичка слыхала о случаях безумной привязанности собак к своему хозяину, но видела такое впервые. Она жалела собаку, которая и в непогоду не отходила от могилы, но не могла себя заставить посадить ее на цепь, чтобы она оставалась дома. Она так любит его, и он так любит ее, думала она, что, может быть, ему приятно, что родная собака дежурит возле его могилы, как близкие дежурят возле постели больного.

И когда Софичка приходила разговаривать с мужем, она чувствовала, что ее одобряет не только душа Роуфа, но и его живая собака, сидящая рядом и слушающая ее. Иногда собака подвывала словам Софички, когда она, всплакивая, что-нибудь рассказывала мужу. И Софичка

лишний раз убеждалась, что слова ее правильны и собака своим плачем подтверждает правильность ее слов.

Иногда, когда Софичка с наполненным кувшином, не подходя к могиле мужа, поднималась наверх, собака с грустным упреком смотрела ей вслед, словно хотела сказать: «Ну иди, иди, раз уж у тебя времени нет подойти к могиле мужа».

Зимой Софичка выстлала папоротниковой соломой то место, где сидела собака, чтобы ей было теплее. Она продолжала там сидеть и когда выпал снег. По-прежнему раз в день она приходила домой, где Софичка ее кормила. Теперь Софичка кормила ее у горящего очага, чтобы дать собаке погреться. Собака съедала еду, но оставалась у очага не дольше того времени, которое требовалось на еду.

– Волк, Волк, посиди, – гладила его Софичка, но собака, виновато повиляв хвостом, уходила на могилу.

Однажды Софичка, накормив собаку, закрыла дверь в кухню, но собака, подойдя к двери, с таким скорбным упреком посмотрела на Софичку, что Софичка едва удержалась от слез и выпустила ее.

Среди зимы, видимо, от холода, собака заболела, у нее отнялись задние лапы, но она продолжала сидеть или лежать возле могилы хозяина. Раз в день, как всегда, она теперь приползала домой поесть, волоча по снегу свои задние лапы. Поев, уползала обратно, оставляя за собой на снегу длинный след волочащихся лап.

Однажды собака не пришла есть, и Софичка стала спускаться к могиле мужа, поглядывая на две борозды в снегу, оставляемые волочащимися лапами собаки. Борозды делались все глубже и глубже. В пяти метрах от могилы мужа она обнаружила труп собаки, застывший в устремленной вперед позе. «Не доползла, бедняга», – подумала Софичка. «Вот так и я умру», – неожиданно пришло ей в голову, но никакой горечи от этой мысли она не испытала. Она закопала труп собаки поблизости от могилы мужа, но за изгородью усадьбы. Теперь их души вместе, подумала Софичка, теперь ему там будет не так скучно.

За год перед войной трижды сватали Софичку, приходили в Большой Дом, договаривались. Словно в тоскливом предчувствии кровавой бойни, из которой они не вернутся, словно обреченная плоть хотела в детях перебросить себя через собственную смерть, трое молодых людей искали ее руки. Но Софичка всем отказала. Она еще была по-девичьи хороша: небольшого роста, крепкая фигурка, темный чистый взгляд родниковых глаз, бровастое миловидное лицо и редкая, но озаряющая все вокруг улыбка на пухлых губах. Она особенно была тем мила, что сама явно никогда не замечала своей миловидности и не думала о ней. И каждый, кто замечал ее привлекательность, думал, что именно ему надо в виде особого дара открыть ей тайну ее привлекательности.

Софичка подозревала, кстати без всяких на то оснований, что этих сватающихся парней за большие деньги подговорил Нури, чтобы она в замужестве наконец простила ему его великий грех и он смог бы опять слиться со своим родом.

– С чего бы это я всем им приглянулась? – говаривала она по этому поводу на табачной плантации или в табачном сарае. – Это наш хитрец старается сбыть меня с рук... Думает: спроважу дурочку, и грех мне простят... Нет ему прощения вовеки.

Но вот грянула война. Цвет молодости Чегема забрали в армию. От Нури из города пришел человек в Большой Дом и сказал, что его призывают в армию, а там – фронт и, может быть, смерть. Он хотел бы попрощаться с родными.

Что делать? Семейный совет призадумался.

– Кто же знал, что такое обрушится на нас, – сказал старый Хабуг, – кто из парней нашей крови останется, кто погибнет – один Бог знает. Пусть приезжает попрощаться с родным домом.

Так и было решено на семейном совете. Софичка не возражала, она только сказала, что сама с братом встречаться не будет. После приезда поздно вечером, видимо под влиянием выпитого, Нури умолил тетю Машу пойти за Софичкой. Но Софичка была непреклонна и не пошла в Большой Дом. На следующий день Нури уехал, так и не увидевшись с сестрой. Вскоре его взяли в армию.

Брат Роуфа Шамиль тоже был призван в армию. Дома у него оставались старые родители, жена и двое детей. Софичка любила родителей мужа, любила его брата Шамиля. Он был и по характеру, да и по голосу очень похож на Роуфа. Поэтому она его любила и была благодарна ему, что он, не исполнив закон кровной мести, оставил ее брата в живых. Нет, Софичка никогда в жизни не собиралась прощать злодейство брата, но крови его она не хотела.

Софичка время от времени, примерно раз в неделю, приходила в дом родителей мужа и всегда приносила детям гостинцы: то яблоки-зимники, сохранившиеся у нее, то чурчхели, то копченое мясо. С начала войны с едой стало хуже, колхоз резко сократил выдачу денег и кукурузы на трудодни. Почти всем приходилось обходиться тем, что давал лес и приусадебный участок. Но Софичка была так трудолюбива, что даже в колхозе зарабатывала больше всех женщин.

Так же, примерно раз в неделю, она спускалась на могилу к мужу, где рассказывала ему иногда про себя, а иногда, переходя на негромкий голос, о последних деревенских новостях, о первых повестках, об убитых на фронте.

– Ну о нем-то, – спохватывалась она иногда в таких случаях, – ты и сам знаешь лучше меня. Небось душа летит в Чегем быстрее почты...

Разговаривая с мужем, она иногда пригибалась, чтобы очистить от сорняков стебли тюльпанов и гвоздик, посаженных ею на могиле. Иногда она приходила с мотыгой и выпалывала сорную траву.

Каждый раз, поговорив с мужем, она чувствовала, что он ее выслушал и теперь благодарен ей за то, что узнал, благодарен ей за то, что она не оставляет его сиротствовать в могиле, и благодарен ей за ее образ жизни. Она всей своей убогатворенной душой чувствовала эту благодарность, и походка ее делалась легче, и темные лучистые глаза струили освеженный свет. Даже кувшин, который она обычно в таких случаях оставляла на роднике, а потом, возвратившись, наполняла водой и тащила на себе, делался намного легче. И это ей служило самым прямым доказательством, что душа его не только одобряет ее образ жизни, но и помогает ей нести кувшин.

Через год война докатилась до Кавказа. Бои шли на перевале, и до деревни, особенно по ночам, доносился гул канонады. У крестьян отобрали лошадей и ослов, потому что армии не хватало средств перевозить боеприпасы и еду до перевала, где шли бои.

Чтобы одной не скучать дома, обычно Софичка брала к себе кого-нибудь из детей дяди Кязыма или тети Маши. В эту ночь у нее ночевала пятилетняя дочь дяди Кязыма.

Ночью Софичка проснулась. Ей показалось, что кто-то тихо стучит в дверь. Софичке стало страшно. Ночь была дождлива. Далеко-далеко с перевала доносилось погромыхивание канонады. Софичка уже было подумала, что этот стук ей примерещился, как вдруг снова его услышала. Кто-то тихо, но настойчиво стучал в дверь. Кто бы это мог быть? Лемец? Абрек? Грабитель?

Снова тихий, настойчивый, осторожный стук. Софичка, стараясь не разбудить маленькую Зину, тихо подошла к дверям с громко колотящимся сердцем.

– Кто? – полушепотом спросила она, задыхаясь от страха.

– Это я, Софичка, – раздался голос, оледенивший ее. Это был голос ее мужа.

– Ты? – удивилась Софичка и все-таки, преодолевая страх, открыла дверь.

В дверях – черный силуэт человека.

– Это я, Шамиль, – сказал он тихо, видимо, чувствуя замешательство Софички.

Ну да, вспомнила Софичка, у них всегда голоса были похожи.

– Какими судьбами? Входи, – шепнула Софичка, и радуясь его появлению, и чувствуя какую-то безотчетную тревогу.

– В доме кто-нибудь есть? – спросил он.

– Зиночка, – тихо сказала Софичка и напонила: – Младшая дочь дяди Кязыма.

– Пойдем на кухню, – понизив голос, сказал Шамиль.

– Идем, – шепнула Софичка и, вспомнив, что она в ночной рубашке, застыдилась: – Я сейчас.

Она быстро и тихо оделась и вернулась к нему. Они зашли на кухню. Софичка нащупала спички, лежавшие на карнизе очага, чиркнула, сняла стекло с керосиновой лампы, запалила фитиль, вставила стекло на место и обернулась к Шамилю.

Он стоял посреди кухни в мокрой солдатской шинели со страшно похудевшим, острокосым лицом, заросшим давно небритой бородой, с ввалившимися и сверкающими нехорошим блеском глазами. И больше всего ее поразили эти его одичавшие глаза, изменившие весь его облик. За спиной его блестел ствол автомата.

– Садись, – сказала Софичка, кивая на скамью у очага, – только шинель сними.

Он поставил автомат к стене, снял шинель и повесил рядом. Сел на скамью и вдруг обернулся на свой автомат одичавшими глазами, словно примериваясь, как цапнуть его в случае надобности.

Софичка схватила головешку из очага, разгребла жар, спрятавший под золой, и раздула огонь. Потом она подвесила на огонь чугунок с мамалыжной заваркой, нанизала на вертел копченое мясо, отгребла часть жара из разгоревшегося костра и уселась на низенькую скамейку, покручивая вертел над углями.

Шамиль, сидевший на скамье, низко наклонившись над огнем, чтобы прогреть и подсушить мокрые плечи, не сводил глаз с мяса, поворачивающегося на вертеле и начинающего шипеть. Когда капли жира, стекающего с мяса, падали на жар, пыхнув голубоватым пламенем, он вздрагивал.

Поджарив мясо, Софичка подогрела фасолевый соус в котелке, сварила мамалыгу. Быстро поставила низенький столик перед огнем. Она наложила на него большую порцию дымящейся мамалыги, сдернула с вертела мясо на большую тарелку, плеснула фасолевый соус туда же и придвинула тарелку Шамилю. Он уже в нетерпении отщипывал от дымящейся мамалыжной порции.

– Два дня ничего не ел, – сказал он, шумным вдохом остужая во рту мамалыгу, – а горячего – две недели.

Поев, он рассказал ей свою историю. Месяц назад полк, в котором он служил, перебрали на перевал. Немцы выбивали их с занятых позиций минометным огнем. Сверху бомбили и поливали из пулеметов. Но страшнее бомб и минометного огня для наших бойцов оказался голод. Если с боеприпасами кое-как поспевали, то еду обычно привозили редко. Бойцы по несколько дней голодали.

Они собирали ягоды. Некоторые приспособились охотиться за немецкими солдатами. Если удавалось солдата убить и подползти к нему, как правило, у него в сумке можно было найти пайку хлеба и кусок масла. Иные бойцы погибали, охотясь за немецкой пайкой хлеба. Каково было живым солдатам видеть, как их товарищ остался лежать на склоне горы за кусок хлеба!

Высота, на которой укрепились их рота, держалась дольше всех. Но немцы лезли и лезли. Два дня назад они накрыли их позиции таким густым минометным огнем, что все его товарищи погибли или были ранены. И он решил кончать с войной. Ночью он оставил высоту и за два дня лесами, горами, ущельями добрался до Чегема. Так как его родной дом расположен далеко от леса, он решил зайти к Софичке. Здесь лес рядом.

– Но ведь тебя власти арестуют, – сказала Софичка.

– Буду прятаться в лесу, – отвечал Шамиль, – лучше пусть убьют здесь, чем в этом чертовом пекле... Как дома? Дети здоровы?

– Все здоровы, – успокоила его Софичка, – я у них была позавчера...

– Пока буду прятаться в лесу, а там посмотрим, – сказал он задумчиво.

– Как знаешь, – заметила Софичка, – ты мужчина, тебе решать.

– Не боишься за себя? – спросил он.

– Нет, – просто сказала Софичка, – ты брат моего мужа, я должна тебе помогать.

– Спасибо, Софичка, – сказал Шамиль, – даст Бог, отплатю тебе за добро.

– Ты брат моего мужа, – повторила Софичка, – я буду делать для тебя все, что могу.

Шамиль решил поспать до рассвета, а там уйти. Софичка постелила ему на кухонной кушетке и вышла из кухни. Он разделся, поставил автомат у изголовья, лег и заснул как убитый.

Софичка вошла в кухню, взяла его солдатскую одежду и, сунув в огонь очага, сожгла. Шинель долго дымила и шипела. Не хотела гореть. Подкладывая дрова и подтаскивая кончиком вертела шинель к самому большому жару, она и ее сожгла дотла. Потом она выгребла из очага все пуговицы и, положив их на лопату, унесла в огород, где закопала в землю.

Вернувшись домой, Софичка достала одежду мужа: брюки, рубашку, носки, шапку, бурку. Враждебно и опасливо поглядывая на автомат, все это она положила на стул у изголовья спящего. Теперь, если бы его в лесу встретил случайно незнакомый человек, он, одетый в крестьянскую одежду, был бы не так подозрителен. Софичка погасила лампу и вышла из кухни. На рассвете она разбудила Шамиля. Он оделся. Она накормила его и снарядила в дорогу.

Дала ему муку, копченое мясо, спички, соль, топор, кружку и чугунок. Где-нибудь в непроходимых чащобах он должен был устроить себе логово и жить там, время от времени посещая Софичку. По ночам, конечно. Они договорились, что в следующий раз он придет ровно через неделю.

Утром, когда она завтракала с маленькой Зиной, та спросила:

– Софичка, а кто это ночью приходил?

– Никто, – смутилась Софичка, – откуда ты взяла?

– Я слышала, – проурчала девочка, вгрызаясь острыми зубками в копченое мясо.

– Разве ты не спала? – спросила Софичка.

– Я спала, но я слышала, – ответила девочка.

– Ешь, ешь, – как можно спокойнее сказала Софичка, – тебе это все приснилось.

– Нет, Софичка, – заупрямилась девочка, – я знаю, когда приснилось, а когда нет.

Софичка промолчала. Она решила, что если с девочкой не спорить, она быстрее забудет о своих ночных видениях. После завтрака, прикрыв дверь кухни, она, взяв мотыгу и перекинув ее через плечо, пошла вместе с девочкой в Большой Дом.

– Мама, а к Софичке ночью кто-то приходил! – воскликнула девочка, когда они вошли в кухню. Сердце у Софички сжалось.

– Кто это, Софичка? – спросила Нуца, отворачивая от очага, где готовила мамалыгу, свое горбоносое лицо.

– Ей приснилось, – сказала Софичка, стараясь скрыть смущение, – ну, я пошла на работу.

– Я же знаю, не приснилось, – услышала она за собой голос Зиной.

До полудня Софичка мотыжила кукурузу, не прислушиваясь к разговорам других женщин. Она все думала, что будет с Шамилем. Она не могла понять, сколько ему придется скрываться в лесу и что он будет делать, если война окончится.

В полдень женщины разошлись по домам. Софичка тоже пошла домой. Она вылила из кувшина остатки воды и пошла за свежей на родник. Оставив кувшин на камне у родника, она поднялась на могилу к мужу. Она рассказала ему, что ночью к ней приходил Шамиль.

– Его там совсем голодом заморили, – сказала она, оправдывая его бегство с фронта.

Она объяснила ему, что теперь Шамиль будет жить в лесу, время от времени по ночам приходя к ней за едой. Она перечислила все вещи мужа, которые передала Шамилю, и сказала, что будет заботиться о нем так, как положено ей, жене брата. Про то, что племянница что-то заподозрила, она не стала говорить, чтобы напрасно его не беспокоить.

Рассказав ему все, она облегченно вздохнула. Как всегда в таких случаях, на душе у нее посветлело, и она успокоилась. Это был знак оттуда, знак одобрения ее жизни.

Ублаготворенная этим знаком, она вернулась к роднику, поймала плавающую на поверхности родника кубышку с ручкой и, зачерпывая ею воду, наполнила кувшин. Вырвав и умяв несколько стеблей папоротника и положив этот ком на плечо, она легко приподняла кувшин и поставила его на папоротниковую подкладку. Она подумала: кувшин наполнен свежей водой, как она наполнена тихой радостью неслышимой похвалы мужа. Придя домой, она пообедала, все время чувствуя струение тихой радости, а затем, взяв мотыгу, снова пошла на работу.

Через неделю в условленную ночь Шамиль снова пришел к Софичке. Он принес огромный кусок мяса. Оказывается, он убил косулю. Софичка приготовила мамалыгу и накормила его. Ему захотелось вымыться. Софичка нагрела воду, поставила на кухне корыто, дала ему смену нижнего белья и вышла. Шамиль выкупался, сменил белье и оделся.

Он сел у горящего очага и закурил. Софичка стала стирать его грязное нижнее белье. Выстирав, простодушно развесила его на веревке, протянутой вдоль веранды.

Когда она вернулась на кухню, Шамиль ей рассказал, что построил себе шалаш в очень глухом месте, где никогда не бывают ни крестьяне, заготавливающие дрова, ни охотники, ни пастухи. В лесу, в одиночестве, ужасно долго идет время, и, если б не охота, он, наверное, умер бы с тоски.

Софичка глядела на него своими лучистыми глазами и снова дивилась пронзительному, волчьему блеску в его глазах. Раньше, до войны, его глаза не были такими.

На рассвете он покинул дом, взяв с собой мешочек муки и мешочек соли для копчения мяса косули. Они договорились, что он снова придет через неделю.

На следующее утро, подоив корову и отогнав ее за ворота, Софичка сварила мясо косули. Ей очень хотелось угостить нежным мясом косули детей тети Маши и дяди Кязыма. Она чувствовала, что это опасно, но она очень хотела угостить детей свежим мясом косули. В конце концов она придумала, что мясо ей принес тесть. Старик изредка хаживал на охоту.

Софичка переложила мясо в миску, прихватила мотыгу и вышла из дому. Проходя мимо дома тети Маши, она подозвала ее и дала ей часть мяса, сказав, что старый Хасан убил косулю. Поднялась в Большой Дом. Дети радостно набросились на свежее мясо. Софичка с удовольствием глядела, как они едят.

– Откуда ты взяла мясо косули? – удивилась Нуца.

– Отец мужа принес, – ответила Софичка, радуясь своей хитрости.

– Надо же, старик еще охотится, – сказала Нуца и тоже присела к детям и стала есть мясо косули.

Свежего мяса давно никто не ел. Ели копченое, пока оно было.

Софичка взяла мотыгу и отправилась в сторону кукурузного поля. По дороге ее нагнал бригадир. Это был пятидесятилетний мужчина, статный, красивый, но, по мнению Софички, у него были слишком сладкие для мужчины глаза. Она давно заметила, что он слишком часто поглядывает на нее этими бархатистыми глазами, покрывающимися иногда пленкой похоти. Это был первый чегемский хам, но никто еще, и сам он, об этом не подозревал. Он так понял случившееся в стране: закон гор побежден законами долин. Значит, все, что считалось святынями, на самом деле не существует. Остается быть достаточно хитрым, чтобы делать то, что тебе выгодно.

– Софичка, – крикнул он, догоняя ее на тропе и близко заглядывая ей в глаза, – что это за мужик у тебя в доме появился?

– Какой мужик? – спросила Софичка и почувствовала, что у нее сердце остановилось.

– Сейчас проходил мимо твоего дома, – сказал бригадир, заглядывая ей в глаза на что-то хитро намекающими глазами, – видел, мужское белье висит у тебя на веранде.

– Это мужа белье, – не задумываясь, сказала Софичка.

– Вот уж не думал, что муж к тебе приходит из могилы, – сказал бригадир, нехорошо улыбаясь и наслаждаясь смущением Софички, – я тоже как-нибудь загляну к тебе в гости...

Он обогнал ее и пошел впереди, слегка потрясывая своим статным телом. Софичка с ужасом смотрела ему вслед. Она предчувствовала, что он теперь ее так не оставит. О его злозадости, так в Чегеме называли похотливцев, ходили нехорошие слухи.

Бригадир прекрасно понимал, что Софичка не могла завести себе любовника. Тогда чье белье она сушит на веранде? Он мгновенно решил, что это белье принадлежит Чунке. Он дезертир и, видимо, время от времени заходит к Софичке. Почему именно Чунка? Потому что он был самым лихим парнем Чегема и от него с самого начала войны не было писем. Может быть, сам дезертировал, может быть, сдался немцам и немцы его здесь высадили на парашюте. О таких случаях он слышал. Так или иначе, теперь Софичка в его руках, он будет ее пугать, и она наконец отдастся ему. На самом деле Чунка был убит в самом начале войны на белорусской границе. Но об этом близкие узнали гораздо позже.

Софичка вернулась домой, сняла с веревки белье, спрятала его в горницу и снова пошла на кукурузное поле. Она мотыжила кукурузу, глубоко задумавшись и не обращая внимания на шутки и разговоры других женщин, работавших рядом с ней. Она не знала, как быть. Теперь надо было придерживаться того, что сказала. Но может ли это выглядеть правдоподобным? Вот что она придумала. Муж, моясь в чулане, забросил за сундук свое грязное белье, и она теперь случайно его обнаружила.

Или сказать, что она завела полюбовника? Но кого? Один из бойцов рабочего батальона, работавшего недалеко от Чегема, иногда приходил ей помогать. Они голодали, эти бойцы рабочего батальона, заготавливавшие лес, и в свободное от работы время разбредались по Чегему, в сущности, прося подаяние.

Этот, который позже стал похаживать к ней, был азербайджанец.

– Дай Бог, пленный-военный, жив-здоров вернуться обратно домой! – напевал он перед домами их выселка, пока ему не дадут что-нибудь поесть. Нет, решила она наконец, и стыдно так сказать бригадиру, и не поверит он ей, слишком жалкий вид был у этого бойца рабочего батальона. Она решила придерживаться версии с сундуком.

Придя в следующий раз к ней домой, Шамиль попросил устроить ему встречу с женой. Софичка обещала. На следующий день она пошла к своему тестю и, дождавшись, когда дети выскочили из дому, сказала, что Шамиль бежал с перевала и прячется в лесу. К тому же теперь, став осторожнее, она напредила о мясе косули, которое Шамиль ей принес, а она угостила этим мясом своих близких, сказав, что косулю убил старый Хасан. Старый Хасан понимающе кивнул головой.

Мать Шамиля и жена его обрадовались, что Шамиль жив и прячется в лесу. И только старый Хасан заунымился. Он был рад, что сын жив, но боялся, что все это плохо кончится. Договорились, что в назначенную ночь все они придут увидеться с Шамилем.

В тот же вечер кто-то широко и неожиданно распахнул дверь кухни, где Софичка сидела и ужинала.

– Принимаешь гостя? – раздался насмешливый голос бригадира.

Сердце у Софички екнуло.

– Заходи, – сказала она, вставая ему навстречу.

Бригадир подсел к огню, многозначительно поглядывая на Софичку. Софичка решила, что, если она его хорошо угостит, может быть, он не станет к ней больше приставать. У нее еще были слишком крепкие представления о примиряющем воздействии хлеба-соли.

– Ужинать будешь? – спросила она.

– Ужинать не хочу, – ответил он, – но от рюмки не откажусь.

Софичка быстро вынесла из кладовки бутылку чачи, чурчхели на тарелке и, убрав с низкого столика остатки своего ужина, поставила перед ним тарелку, бутылку и рюмку. Налила ему, стараясь унять дрожь в руке, чтобы он не заметил, как она волнуется.

Бригадир поднял рюмку и с насмешливой важностью провозгласил тост за то, что теперь наступил конец одиночеству и вдовству такой молодой, цветущей женщины, как Софичка.

Он выпил, закусил, снова выпил. Смачно облизнулся, глядя на Софичку, и снова бросил в рот кусок чурчхелины. Софичка почувствовала, что он клонит в нехорошую сторону, но не знала, что сказать.

Бригадир сидел, слегка наклонившись к горячему очагу, и аппетитно жевал чурчхели. Софичка чувствовала отвращение к его красноватому лицу, озаренному огнем очага, к самому звуку, с которым он глотал разжеванную закуску, к его самоуверенно жующим челюстям и даже к самому его, угадываемому под одеждой сильному мужскому телу. И особенное отвращение она чувствовала к его городскому пиджаку и резиновым сапогам, тогда еще редким в Чегеме.

– Чунка пишет? – вдруг спросил он после третьей рюмки, глядя ей прямо в глаза.

У Софички трепетнула надежда, что теперь он к ней не будет приставать, раз спрашивает о Чунке.

– Нет, – сказала Софичка, тяжело вздыхая, – как только началась война, перестал писать...

Но ведь он и так знает об этом, вдруг с тревогой подумала Софичка.

– А чего ему писать, когда он сам здесь? – вдруг сказал бригадир.

Софичка опешила, до того голос бригадира был уверенным.

– Как так? – спросила она.

– Хватит притворяться, – сказал бригадир, – я знаю, Чунка дезертировал, и это его белье висело у тебя на веранде. Поладим – буду молчать. Не поладим – вас всех сошлют в Сибирь. Небось и в Большом Доме знают, что он прячется в лесу?

– Ты донесешь? – растерялась Софичка.

Хотя она боялась, что Шамиля кто-то увидит и это дойдет до властей, но она как-то не могла представить, что это произойдет путем прямого доноса.

Она никогда не слыхала, чтобы в Чегеме кто-нибудь на кого-нибудь донес. Одну семью подозревали в доносе, который их предок якобы совершил еще в царское время по поводу угнанной соседом лошади. Но донос этот так и не был никем доказан, а потомки сумрачно и покорно несли бремя нравственной прокаженности. Бедная Софичка, если бы она знала, что в Чегеме уже есть тайный осведомитель! Но это был не бригадир, а совсем другой человек.

– Конечно, – ответил он, улыбаясь ей, – если ты не будешь со мной доброй. Для кого ты бережешь себя? Для могилы?

Софичка задумалась, оставив без внимания конец его фразы.

– А дедушка, помнится, говорил, что доносчики только на той стороне Кодора. Оказывается, и у нас появился.

– Не говори глупости, – сказал бригадир, вставая и подходя к ней, – власть одна, что в долине, что в горах.

– Власть одна, – повторила Софичка, не выходя из глубокой задумчивости, – но люди разные в долинах и в горах.

– Не мели чепуху, – сказал бригадир и, воровато взглянув на тахту, облапил Софичку и поцеловал прямо в губы.

Тут Софичка очнулась и стала с силой вырываться, а он, разгоряченный ее сопротивлением, пытался подхватить ее, но она вырвалась и выбежала во двор.

– Я кричать буду, – задыхаясь, сказала Софичка, – если ты подойдешь ко мне!

Она пожалела, что нет собаки.

– Попробуй крикни, – сказал он ей, уверенный, что она на это не осмелится.

Но Софичка осмелилась.

– Эй, Маша! – закричала она.

– Это ты, Софичка? – тут же отозвалась Маша.

– Я, я! – закричала Софичка. – Пришли дочку, мне страшно одной ночевать!

– Сейчас пришло! – ответила Маша.

«Все-таки она не осмелилась сказать про меня», – подумал бригадир, сначала встревоженный ее криком, а теперь успокаиваясь.

– Ну ладно, – заключил он, – сегодня я уйду, но ты все равно будешь моя. Пожалуйся Кязыму или дедушке – всем твоим придет конец.

– Нет Чунки в лесу, клянусь Богом! – крикнула Софичка.

– Так кто же в лесу? – насмешливо спросил бригадир.

Софичка вдруг испугалась, что он теперь догадается, кто в лесу. Но он был уверен, что в лесу прячется Чунка. Зная о его лихости и боясь его, он добавил:

– Пожалуйся ему – будет хуже. Я уже сказал о нем доверенному человеку. Он умеет язык держать за зубами. Если Чунка со мной что-нибудь сделает, он тут же его выдаст. Лучше поладим по-хорошему.

С этими словами он открыл ворота и исчез в темноте.

– Никогда! – крикнула Софичка вслед ему в темноту.

Темнота не ответила. Но в лесу заплакал шакал, и сразу же его плач подхватили другие шакалы. Софичке стало тревожно, и она с нетерпением ждала Машу с дочкой.

В условленную ночь по одному, чтобы никто ничего не заподозрил, пришли отец и мать Шамиля и его жена Камачич. Они принесли с собой хачапури, поджаренную индюшку и бутылку чачи, хотя у Софички оставалось полдюжины бутылок этого напитка. Сама она никогда не пила, а гости у нее бывали очень редко.

Накрыли стол, сварили мамалыгу и приподняли котел на цепи, чтобы мамалыга была горячей, но не слишком усыхала.

Наконец явился Шамиль. Мать бросилась целовать и обнимать сына, а он неловко себя чувствовал, потому что не успел освободиться от автомата. Но вот поставил его в угол. И старый Хасан обнял сына. Сдержанно, как и положено мужчинам, поцеловались. А с женой Шамиль даже не поздоровался за руку. Не положено по абхазским обычаям жене и мужу на людях, даже если это родные, оказывать друг другу знаки внимания. Они только долгим взглядом окинули друг друга, и жена смущенно опустила голову.

Часа через два родители ушли домой, а Софичка постелила себе на кухне, предоставив Шамилю и его жене горницу.

– Спите спокойно, – сказала она, – на рассвете я вас разбужу.

Софичка легла на кухне, радостно взволнованная их уединением. Она вспомнила, как в первый год замужества она рассталась с мужем на три месяца. Он тогда вместе с отцом ушел на альпийские луга пасти скот. Как скучала тогда Софичка, как расцарапывала краем зеркала стену над своей кроватью перед сном, словно по этим царапинам, идущим вверх, как по ступеням лестницы, поднималась к мужу. И наконец на девяносто третьей ступени они встретились.

К вечеру того дня вдруг залаяли собаки и помчались к воротам, а через несколько минут во двор влились округлившиеся на альпийских лугах козы, влились, позвякивая колокольцами, играя, становясь на дыбы, струясь белой, залоснившейся шерстью.

А следом за козами Роуф вогнал во двор ослика, нагруженного мешками с сыром, и собаки бросились к нему и стали, подпрыгивая, лизать его лицо, а он, улыбаясь, отворачивался от них, отбрасывая рукой и приближаясь к Софичке, застывшей посреди двора, пронзенной

счастьем и завидующей собакам, которые, никого не стыдясь, могли так открыто радоваться его приходу.

Она понимала, что по обычаям ее народа нельзя жене при виде мужа даже после долгой разлуки проявлять столь откровенную радость, но радость эта была сильнее ее, она заставляла сиять ее лицо и глаза, и без того лучистые, и она сама чувствовала нестерпимое сияние своего лица и глаз и, стыдясь, старалась остудить это сияние, но от стыда ее лицо и глаза еще сильнее сияли, и сами движения ее, она это чувствовала, источали сияние.

Она помогала мужу разгружать ослика, и их руки случайно прикоснулись на седельце, и горячей сладостью обожгло ее это прикосновение, и она, волоча на кухню мешок с сыром, думала, задыхаясь: «О, что будет!»

И после весь вечер, разгоняя коз и козлят по разным загонам, доя коров, и потом, готовя у очага ужин, она все время чувствовала неостановимо струящееся из нее сияние счастья.

И она чувствовала это струение, когда вся семья сидела у пылающего очага и ужинала, а она прислуживала за столом, и позже чувствовала, когда муж ее мылся в чулане, пристроенном в кухне, и, когда плеск воды доносился оттуда, она вспыхивала от стыда, словно голое тело мужа просвечивало сквозь кухонную стену. И потом, когда они остались одни в своей комнате, она чувствовала слепящую силу этого сияния, и от слепящей силы этого сияния она не могла смотреть ему в лицо, и от слепящей силы этого сияния он тоже теперь не мог смотреть ей в лицо, и для того чтобы хотя бы на свет лампы ослабить это сияние, она дунула в нее и погасила, и в темноте несколько нескончаемых минут раздавался шорох сдираемой с тела одежды, и он взошел к ней на постель и взял ее, и она закрыла глаза от слепящих вспышек прикосновений, и это длилось, длилось, длилось, и, когда она очнулась и открыла глаза, он спал рядом с ней на подушке, спал непробудным, глубоким сном, утомленный огромным дневным переходом.

А она не спала рядом с ним до утра, вглядываясь в него в темноте, поглаживая его спину и влажные еще от купания волосы, а тело ее, остывая, струилось уже легким светом утешения.

И сейчас, лежа на кушетке и вспоминая тот далекий теперь его приход с гор, она понимала не столько умом, а всем своим существом, что раз это было когда-то в ее жизни и раз это живет в ней сейчас, так ясно и горячо, как будто это было вчера, значит, ничего не кончилось, ничего не умерло и она совсем не одинока, хотя в этой жизни его рядом никогда не будет. Да, в этой жизни его никогда не будет, но из этой жизни он все равно никогда не уйдет, пока не уйдет из ее сердца память любви.

На рассвете Софичка встала, оделась, подошла к дверям горницы и, постучав, разбудила спящих. Наскоро позавтракав, Шамиль вышел в огород, за изгородью которого сразу начинался лес. Софичка, боясь, что он случайно столкнется в ее доме с бригадиром, просила его быть осторожнее и приходить только в заранее назначенную ночь.

И хотя он и так приходил каждый раз только в заранее обусловленное время, теперь она боялась, как бы он ненароком не нарушил условия. Когда она ему это сказала, он только пристально посмотрел на нее, но ничего не ответил. Бог знает, что он подумал! Софичке было неприятно от его пристального взгляда, но ведь не могла она ему объяснить, чем вызвана ее осторожность.

Теперь Софичка, возвращаясь с табачной плантации или из сарая, где она целый день низала табак, брала к себе домой одну из дочерей дяди Кязыма или тети Маши. Софичка считала, что бригадир не посмеет покуситься на нее при ребенке. При всей своей кротости она и так была уверена, что живой ему никогда не дастся, но все-таки при ребенке, думала она, даже он не осмелится на такое преступление.

А между тем бригадир пользовался каждым случаем, чтобы напомнить Софичке, что он все знает и рассчитывает на ее благоразумное согласие стать его любовницей.

Иногда он грозил, что терпение его лопается и он завтра же поедет и все расскажет в кенгурском НКВД.

– Нет, – говорила Софичка, бледнея, – ты не сделаешь этого...

Иногда, если рядом никого не было, он не только грозил все рассказать властям. Он прямо разыгрывал воображаемый диалог между начальником НКВД и им. По его рассказу получалось, что Софичка соблазнила его и он уже привык к ней, а потом появился ее двоюродный брат, дезертир Чунка, и запретил ей встречаться с ним.

– До чего же бессовестный, – шептала Софичка, с ужасом и отвращением глядя на красивое, плотоядное лицо бригадира. При этом он с ней говорил таким спокойным голосом, что издали крестьяне могли подумать, что он ей дает какое-то задание по работе.

И вот эти многочисленные и многообразные воображаемые разговоры бригадира с начальником НКВД превратились для Софички в кошмар. Она начала верить в непреодолимое могущество хитрости и коварства. При этом дважды или трижды за это время она встречала бригадира в Большом Доме. Он сидел перед очагом и разглагольствовал с дядей Кязымом и, когда она входила, равнодушно взглянув на нее, отворачивался. «Почему, почему он ничего не боится?» – думала она. Но он знал, что она ничего не расскажет, потому что в конечном счете от этого пострадают все. Она и дяде Кязыму ничего не рассказала о Шамиле. Она смутно понимала, что, если власти узнают о Шамиле, пострадают все, кто так или иначе связан с этой историей. И она молчала.

Однажды Софичка возилась в винном подвале, выстроенном Роуфом, хотя своего винограда у них еще не было. Вдруг ее кто-то схватил в охапку и потащил к давяльне. Она растерялась, она не сразу поняла, что это бригадир, задыхаясь в его могучих, потных объятиях. Он дотащил ее до давяльни и шваркнул на хрустнувшую кукурузную солому, сваленную на дне давяльни. Все произошло в несколько секунд, и Софичка от растерянности даже не вскрикнула. Но, кинув ее на дно давяльни, бригадир сообразил, что давяльня слишком узкая и он не сумеет ею здесь овладеть.

И он на мгновение бросил ее, озираясь, куда бы ее перенести. И тут Софичка пришла в себя, вскочила и схватила вилы, лежавшие рядом на дне давяльни.

– Убью, – крикнула Софичка, – не подходи!

А ведь вправду убьет, подумал бригадир, остывая и глядя в ее пылающие ненавистью глаза.

– Для сестры дезертира слишком смелая, – улыбнулся бригадир и спокойно покинул сарай.

И все-таки не это было самое страшное для Софички, а его подлые рассказы о будущей беседе с начальником кенгурского НКВД.

От всего этого она осунулась, опечалилась, похудела. Она не знала, что делать, и не находила выхода.

Однажды ночью, когда пришел Шамиль, она, как обычно, подала ему ужин. Он пристал к ней с вопросами, пытаясь понять, что с ней случилось. Ему показалось, что она от страха тяготится его приходами. Софичка уверяла его, что с ней ничего не случилось. Он продолжал приставать, потому что погас ее лучистый взгляд, а это было красноречивее всяких слов.

– Софичка, – вставая, сказал Шамиль, – я понял, что тебя тревожит, и я сюда больше никогда не приду. Ты боишься, может, не столько за себя, сколько за своих близких... Больше меня здесь не будет...

– Нет! – вскричала Софичка и, бросившись ему на грудь, разрыдалась. Обильные слезы словно вынесли из нее все слова жалобы на домогательства бригадира. Она даже не забыла рассказать про сцену в винном сарае и про его мерзкие воображаемые разговоры с начальником кенгурского НКВД.

– Вот так, Софичка, – тихим, kloкочущим голосом произнес Шамиль, – я не отомстил за брата, и люди перестали с нами считаться. Будь спокойна, Софичка, больше он к тебе не придет.

Софичка стояла, прижавшись к Шамилю, утоленная впервые выплаканными слезами, не вслушиваясь в смысл его слов, только понимая, что большой, сильный мужчина, брат ее мужа, утешает ее и обещает защитить. Если бы она сейчас посмотрела в его глаза, она бы увидела в них такое тихое бешенство, которое было страшнее того, что она принимала за волчий взгляд.

Он ушел, договорившись о дне встречи. И только когда он ушел, она постепенно опомнилась, осознавая грозный смысл его утешения. Она вышла из дому, прислушиваясь к тихой безлунной звездной ночи, полная каких-то тревожных ожиданий.

Бригадир жил в полукилометре от дома Софички. Вдруг где-то там далеко отчаянно залая собака. Потом раздались странные сливающиеся выстрелы. Потом крики людей. Потом снова странные сливающиеся выстрелы. И крики, крики, крики людей! На крики отзывались уже более близко живущие люди. Что там случилось?

...Шамиль подошел к дому бригадира. Большая собака светлой шерсти выскочила из-под дома, подбежала к воротам и стала яростно облаивать его. Шамиль уже держал в руках автомат. Этой собаке, как и всякой деревенской собаке, вид человека с оружием внушал ненависть и страх. Страх не давал ей слишком близко подойти к нему.

– Эй, кто там?! – наконец крикнул с веранды дома бригадир. Он спустился во двор. Белая ночная рубашка смутно виднелась возле дома. И так как брюки на нем были темные, сливающиеся с темнотой, казалось, рубашка плывет по воздуху, как привидение.

– Принимай гостя! – крикнул Шамиль, не боясь быть узнанным, потому что яростный лай собаки перекрывал его голос.

– Что-то не узнаю! – крикнул бригадир с середины двора, продолжая приближаться, а собака, чем ближе он подходил, тем яростнее заливалась.

– Совсем сбесилась, пошла! – крикнул он уже в трех шагах от Шамиля и, сделав еще один шаг, вдруг запнулся в ужасе, узнав его. Он мгновенно понял, что не Чунка приходил к ней, а Шамиль. А он думал, что Чунка. И вдруг сейчас, глядя на решительное, мрачное лицо Шамиля с автоматом в руках, он подумал, что его это спасет, если он разъяснит Шамилю свою ошибку.

– Я не тебя подозревал, я Чунку подозревал, – крикнул он, – спроси Софичку! Спроси Софичку!.. Спроси...

Но было уже поздно. Автомат плеснул очередью, и бригадир свалился в траву. В доме раздались вопли женщин. Шамиль рванул ворота. Они не поддались. Он пихнул сильнее, и ворота распахнулись, вырванная с гвоздем щеколда упала на траву.

Собака продолжала захлебываться лаем, но отступила перед ним. Шамиль подошел к труп бригадира и наклонился над ним, вынимая из чехла пастушеский нож. Клацая ножом по зубам, он раздвинул ему челюсти, ухватился одной рукой за его язык, а другой рукой, сунув ему нож глубоко в рот, вырезал ему язык. Разогнувшись, бросил его захлебывающейся лаем собаке. Собака отпрянула от брошенного темного комка, потом приблизилась, понюхала и вдруг, жадно kloкотнув два раза, проглотила его.

И, словно на миг почувствовав ужас святотатства перед старым хозяином и словно стараясь преодолеть этот ужас через готовность служить новому хозяину, она подняла морду на Шамиля и завильяла хвостом: то ли ожидая новой подачи, то ли приказа лаять на кого-нибудь другого. Шамиль вскинул автомат и разрезал собаку короткой очередью.

– В этом доме что псы, что люди – одинаковы! – крикнул он громко, но опять его голос никто не узнал, потому что из дома доносились вопли женщин, а из ближайших домов крики людей, пытающихся узнать, что случилось. Через мгновение Шамиль растворился в темноте.

Весть о том, что ночью неизвестный человек вызвал к воротам бригадира, убил его из автомата и, вырезав ему язык, бросил его же собаке, которая тут же сожрала его и тут же была убита второй очередью из автомата, облетела Чегем.

Когда сбежались родные и близкие бригадира, потрясенные случившимся, они не догадались скрыть подробности позорной казни. А потом было уже поздно.

Толковали всякое, но было ясно, что мститель намекал на донос. Старейшины Чегема сначала пришли к страшному с точки зрения абхазских обычаев решению – односельчане не приходят на оплакивание покойника-доносчика.

Родные покойника слезно умоляли старейшин не губить их род, дать, как и положено по абхазским обычаям, оплакать ни в чем не повинного покойника. К тому же они настаивали на том, что решение старейшин юридически неточно. По древним абхазским обычаям доносчику отрезают язык и уши, а этот убийца отрезал только язык. Старейшины долго обсуждали этот вопрос. Они пришли к выводу, что, вероятно, мститель хотел этим показать, что он убил покойника за клевету. То есть передал властям не то, что он слышал, а то, что он придумал. Потому мститель и не отрезал его ушей. Но было совершенно неясно с точки зрения древних обычаев, почему мститель бросил отрезанный язык собаке и как собака могла съесть язык хозяина.

– Интересно, съела бы она его уши, если бы он отрезал уши и бросил ей? – полюбопытствовал кто-то.

– Нет, уши, пожалуй, не съела бы, – решили старейшины, – уши хозяина она видела и знала, а язык приняла за кусок мяса.

– Да, но собака должна знать запах хозяина, – брезгливо настаивал один из старейшин.

– Язык не пахнет, – после некоторого раздумья заметил другой старейшина, как бы приоткрывая дьявольские возможности языка.

– Вот за это и поплатился бригадир, – заключил третий старейшина.

Туговато шли переговоры старейшин с родственниками убитого. Сперва старейшины слегка отступились и сказали, что село на оплакивание не придет, но, так и быть, выделим четырех мужчин для рытья могилы.

– Мало, – умоляли родные и близкие, – не позорьте нас.

Наконец старейшины были сломлены, но не столько мольбами родственников, сколько ввиду полной неясности того, почему мститель пощадил уши бригадира. В конце концов решили, что все это, вероятно, диверсия какого-то злого человека, чтобы замутить чегемскую жизнь перед возможным приходом немцев в Чегем.

Софичка была ни жива ни мертва от всего, что она узнала о случившемся. Она проклинала себя за то, что имела слабость рассказать о приставаниях бригадира. Хотя она и сейчас ужасалась домогательствам бригадира, но теперь ей казалось, что как-нибудь справилась бы сама, что не надо было жаловаться Шамилю. Несколько дней ее терзали эти мысли, она стала плохо спать. В конце концов она пришла на могилу к мужу и все ему рассказала. Ей показалось, что муж одобрил ее действия, а действия брата одобрил не вполне. Она так и ожидала. Ей почудилось, что он дал знать, что надо было убить бригадира и остановиться на этом. Кувшин, который она, как всегда, на обратном пути тащила от родника, полегчал, но не настолько, насколько он легчал обычно.

Софичка приходила на могилу примерно раз в неделю. Ей бы хотелось приходить почаще, но она считала слишком назойливым так часто беспокоить его. К тому же, так как она, перед тем как постоять у его могилы, оставляла у родника кувшин, ему могло показаться, что она и приходит на его могилу только для того, чтобы после легче было бы тащить кувшин. Конечно, ей было приятно, что после беседы с ним кувшин становится легче, но приятно было оттого, что это явный знак его одобрения ее жизни.

Прошло несколько месяцев. Шамиль время от времени продолжал приходить к Софичке, изредка встречаясь там с женой. Поздней осенью один из жителей Чегема, отыскивая забредшую в чащобы корову, обнаружил на одном оголившемся буке парашют. Он принес его в правление колхоза, оттуда его переправили в кенгурский НКВД.

Стало ясно, что немцы в этих местах высадили диверсанта. Может, не одного. Работники НКВД приехали в Чегем, разговаривая с колхозниками, спрашивали, не видел ли кто-нибудь в Чегеме или в окрестностях подозрительных людей. Но никто ничего не видел. Никаких следов возле бука, на котором застрял парашют, собака чекистов не нашла.

Вернее, овчарка взяла след крестьянина, обнаружившего парашют, и довольно точно привела чекистов к дому, где он жил. Уже во дворе дома она кинулась обнюхивать жену этого крестьянина, не без основания решив, что она припахивает мужем.

Но эта пожилая крестьянка чересчур размашисто отмахивалась от собаки, и та в ярости порвала ей юбку и, может, наделала бы еще больших бед, если бы чекист, державший ее на поводке, не дернул за него.

Одним словом, крестьянина арестовали и, к счастью, сначала привели его в сельсовет. И тут председатель колхоза стал горячо доказывать чекистам, что именно этот крестьянин обнаружил парашют, а не спустился на нем. Вернее, спустился с ним с дерева, на котором его обнаружил, и принес в правление колхоза. Крестьянина отпустили, но не очень охотно.

– В другой раз, даже если самолет будет висеть на дереве, – позже говаривал он чегемцам, – даже голову не подыму, зачем мне эти хлопоты.

Жена его многие годы после случившегося рассказывала о мистическом чуде чутья собаки. Оказывается, муж ее сначала принес парашют домой. И она, по ее словам, уговаривала своего дурака не сдавать его в сельсовет, а наделать из него одеял и матрасов. Им бы сноса не было, уверяла она его. Но он ее не послушался и отдал его в сельсовет.

– И вот эта шайтанская собака, – рассказывала она, – только увидела меня, сразу узнала, о чем я говорила мужу, и бросилась на меня. А ведь когда я ему это говорила, ни одного человека рядом не было, а собака эта была в Кенгурске. Как она узнала, что я говорила? Дьявол, а не собака.

И некоторые чегемцы дивились дьявольской власти и ее дьявольским собакам. Другие, более скептически настроенные, смеясь, говорили ей:

– Видать, ты еще спишь со своим мужем. Вот собака и полезла на тебя. Пора бы в твоём возрасте спать отдельно.

– И никогда не спала с ним! – опять же чересчур широко отмахивалась она, тем самым ставя в двусмысленное положение как своего мужа, так и троих своих сыновей, находившихся в армии, если бы чегемцы могли ей поверить. Но они ей не верили, потому что по чегемским обычаям женщина так и должна отвечать в таких случаях.

Вскоре из Кенгурска приехали бойцы истребительного батальона. Дней десять они жили в Чегеме, прочесывая окрестные леса, и Софичка со страхом думала, что они могут наткнуться на убежище Шамиля. Но они ничего не обнаружили и уехали к себе в Кенгурск.

Однажды ночью, когда Шамиль пришел к ней домой, она ему рассказала про парашют, найденный в лесу, и про истребительный батальон, тогда еще прочесывавший чегемские леса.

– Они ищут лемца, а могут наткнуться на тебя, – сказала она.

Шамиль горько усмехнулся, но ничего не ответил на ее слова. Когда он ушел, Софичка долго вспоминала эту его усмешку и странное выражение его лица. Она много думала, пытаясь понять, что именно в его облике показалось ей странным, но не могла понять. Несколько дней она невольно думала об этом, лицо его, искаженное в горестной усмешке, так и вставало перед ее глазами.

И вдруг истина озарила ее: он встретился в лесу с этим лемцем! Да, да, так оно и есть! В последние два месяца он брал муки больше, чем раньше, и еще он перестал жаловаться на одиночество.

Что же будет? Ведь теперь, если власти его поймут, они его обязательно убьют. Одно дело сбежать с фронта и прятаться в лесу. За это, по мнению Софички, ему грозила Сибирь. Другое дело связаться с лемцем. За это могут и убить. С лемцами вон какая война идет. Она

решила сказать Шамилю, чтобы он подальше держался от лемца. Она боялась, что лемец втянет его в какую-нибудь гиблую затею. В ближайший его приход она высказала ему свои подозрения. Он не стал ничего отрицать, а только внимательно посмотрел на нее.

– Откуда узнала? – сумрачно спросил он.

– Ты стал брать больше муки и перестал жаловаться на одиночество.

– Да, – согласился Шамиль, – я с ними встретился в лесу, и мы теперь живем вместе.

– Так сколько их? – удивилась Софичка.

– Двое, – сказал он.

– Как же ты сдружился с лемцами, – упрекнула его Софичка, – они же враги?

Софичка постыдилась сказать, что муки и так не хватает, она сама мамалыгу готовит только раз в день, а тут еще лемцев кормить ее мукой.

– Никакие они не немцы, – отвечал Шамиль, – это наши ребята... Один из них армянин из Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Они попали в плен и, чтобы не умереть с голоду, согласились работать на немцев. На самом деле они и на немцев ничего не делают, и к нашим бояться выйти... Так-то.

– Что же будет? – растерялась Софичка.

– Ох, Софичка, – вздохнул Шамиль, – не спрашивай! Рано или поздно убьют нас, как бешеных собак, но и мы кое-кого покусаем... Ну ладно, там видно будет... Дай что-нибудь выпить...

Софичке было жалко Шамиля да и его неведомых товарищей по несчастью. У всех дома остались близкие, которые ждут их, тревожатся, страдают. Что же будет? Может, в конце войны на радостях простят им их вину? Нет, и на это было мало надежды, да и войне не видать ни конца ни края.

Пришла зима. Однажды вечером по снегу пришел к Софичке старый Хасан и сказал, что днем приходили двое из кенгурского НКВД и забрали жену Шамиля. Старик был удручен и напуган. Софичка поняла, что над ними всеми нависла угроза, но она почему-то за себя не боялась, она боялась только за Шамиля. Что будет? Что они узнают у жены его? Нет, она им ничего не скажет.

Прошло несколько дней. Жену Шамиля не отпускали домой, и никто не знал, что с ней. В назначенную ночь пришел Шамиль. Когда Софичка рассказала ему о случившемся, Шамиль побелел, и руки его вцепились в скамью, на которой он сидел. Он долго молчал, глядя на огонь.

– Теперь они вас не оставят, – наконец сказал он, – я сдаюсь властям. Завтра пойди и скажи председателю колхоза, чтобы они в ближайшее воскресенье вместе с начальником кенгурского НКВД в одиннадцать часов вечера пришли к тебе и ждали меня. Скажи им, что, если они устроят засаду, я буду отстреливаться до последнего патрона. Воевать я все-таки умею лучше их. Скажи им, что до этого они должны отпустить мою жену в знак того, что они со мной хотят говорить по-мирному... Да, ни за что не говори, что я у тебя бывал раньше. Скажи, что я в первый раз пришел... Жена, я уверен, им ничего не скажет.

– А они тебя не обманут? – спросила Софичка. Опыт ее жизни ей подсказывал, что начальство легко идет на обман. С оплатой трудней, сколько она себя помнила, всегда обманывали. Точнее, всегда давали меньше, чем обещали.

– Могут, – после некоторого молчания ответил Шамиль, – но у меня нет выхода. А так они арестуют и жену, и родителей... Да, не забудь сказать председателю колхоза, что я буду разговаривать только с начальником кенгурского НКВД. Ни с кем из его помощников я не буду разговаривать. Если они сохранят нам жизнь, я приведу попозже и этих двоих.

– А если они не захотят? – спросила Софичка в предчувствии какого-то смутного ужаса.

– А куда им деваться? – раздраженно ответил Шамиль. – Здесь их ничего, кроме смерти, не ждет. А так хоть какая-нибудь надежда...

На следующий день Софичка пришла к председателю колхоза и все ему рассказала. Тот сейчас же поехал в Кенгурск, встретился с начальником НКВД и изложил ему условия Шамиля.

Начальник немедленно принял условия Шамиля, хотя встречаться с ним ночью в горной деревушке ему не хотелось. Но карьера его висела на волоске. О высадившемся парашютисте знало республиканское начальство, а принятые меры не дали результатов.

По агентурным данным с Клухорского перевала было известно, что Шамиль не найден ни среди мертвых, ни среди раненых. Один из раненых сказал, что он храбро сражался, но потом куда-то исчез. Теперь начальник решил, что именно Шамиль спустился на парашюте. К тому же осведомитель из Чегема сообщил, что жена Шамиля с наступлением ночи дважды уходила из дому.

Подтверждений никаких не было, но решили на всякий случай допросить жену. Жена полностью отрицала то, что виделась с мужем или что-либо знает о его судьбе. Ее уже готовы были отпустить с тем, чтобы осведомитель более внимательно следил за ее поведением.

Сравнительная небрежность, с которой диверсант не уничтожил застрявший на дереве парашют, подсказывала, что он в этих местах, по-видимому, не собирался оставаться. В конце концов, что делать диверсанту поблизости от Чегема? Не взрывать же табачные сараи?

И вдруг такое признание! В самом деле Шамиль оказался здесь, да еще не один! Да еще сам напрашивается на переговоры! Жену Шамиля тут же выпустили, взяв с нее подписку, что она будет молчать обо всем, о чем с ней здесь говорили.

В воскресенье вечером домой к Софичке пришли председатель колхоза и начальник НКВД. Софичка зарезала курицу, приготовила орехов, сациви, мамалыги, чачи и стала вместе с гостями дожидаться Шамиля. Она чувствовала, что начальник НКВД очень волнуется и, попросту говоря, боится предстоящей встречи.

Накануне ночью Шамиль заходил к ней. Он тоже сильно волновался. Он знал, что с самого начала сделал неправильный шаг, то есть сознался, что он в лесу не один. Но, потрясенный арестом жены и предстоящим арестом отца и матери, а потом, может быть, и Софички, он забылся, он набивал себе цену и теперь понял, что они потребуют у него выдачи его лесных друзей.

Кроме того, он боялся, что начальник приведет с собой чекистов, чтобы схватить его в самом доме. От них всего можно было ожидать, но останавливаться уже было поздно. Он договорился с Софичкой, что если начальник придет с чекистами, то она, когда он постучит в дверь, громко крикнет:

– Входи, тебя ждут!

А если начальник будет один с председателем колхоза, она должна спокойно сказать:

– Входи, входи!

Софичка запомнила эти два знака и много раз повторяла про себя, чтобы не спутать.

И вот этот грозный начальник, к удивлению Софички, приходит, одетый в штатское пальто и штатский костюм. Начальник кенгурского НКВД действительно боялся встречи с этим человеком, который, как он был уверен, таким страшным образом убил бригадира. И хотя бригадир на них не работал, но зверское убийство и отрезанный язык, брошенный собаке, были, в сущности, прямым оскорблением его конторы. И он уже заранее ненавидел его за это. Однако он выработал определенную линию поведения. Ни малейшего намека, что они его подозревают в убийстве. Надо было выкурить из леса этих двух диверсантов. Надо было ему достаточно много обещать, но не более того, что выглядело бы правдоподобно.

Опыт многолетней работы в НКВД убедил его, как трудно иметь дело с этими горцами. Тайная статистика вербовки секретных работников, опубликование которой вызвало бы взрыв гнева так называемых цивилизованных народов, эта тайная статистика ясно показывала, что горцы не хотят понимать классового характера нравственности. И хотя ему удалось сломать

одного из чегемцев и заставить его работать на себя, и его с этим поздравлял сам начальник республиканского НКВД, пока это мало что давало. И этот осведомитель так боялся разоблачения, что не выследил жену Шамиля, когда она уходила из дому, и даже не притаился где-то у дома, чтобы убедиться, вернулась ли она ночью домой.

Да, цивилизация, думал начальник, приводит к облегчению вербовки, и потому она полезна. И потому хорошо, что в самых отдаленных горных селах открывают школы, радиоточки, завозят туда газеты на родном языке. Но толку от этого немного.

Черт с ней, с вербовкой! Но как нехорошо ведут себя горцы, привлеченные по тем или иным делам! Пространства долин и особенно городов уже навек загазованы страхом перед его грозным учреждением. Но горы и вместе с ними и горцы пока еще высовываются над этим загазованным пространством великой родины. И нет у них предварительной обработки страхом, который превращает в податливый воск каждого, кто попадает в его учреждение. При допросах они неожиданно бывают оскорблены черт знает чем, кидаются на следователей, и порой приходится их пристреливать прямо в кабинете, что крайне нежелательно во всех отношениях. Хотя бы потому, что в Кенгурске чрезвычайно звукопроницаемые стены.

Да, уже двенадцатый час, но он почему-то не идет. Не заманил ли, не устроил ли засаду?!

Софичка чувствовала, что начальник волнуется. Она чувствовала, что он боится Шамиля, и это ее, с одной стороны, наполняло гордостью, а с другой стороны, удивляло. Как же он да и председатель не понимают, что, раз Шамиль договорился встретиться с ними помирному, он их не тронет. Неужели они совсем не верят людям? Но, значит, тогда и им нельзя доверять. Что же будет с Шамилем?

В кухне стояла тревожная тишина. Только слышалось, как в очаге время от времени потрескивают дрова. Начальник НКВД чувствовал, что ноги его дрожат постыдной, неостановимой дрожью, и он боялся, что этот страх заметит председатель колхоза или эта блаженная хозяйка. Он хотел себя уверить, что это не страх, а просто боязнь, что сорвется такое важное дело, но каблук, время от времени выбивавший дробь на земляном, слава богу, полу, ясно говорили ему, что это именно страх. Но ведь в двадцатых годах он бывал в настоящих стычках с басмачами. И не было такого потного, постыдного страха. Что же случилось с тех пор с ним? Или со всеми? Сначала верили, потом подумать было страшно, что вера испарилась, а потом и вообще думать стало страшно.

Вдруг раздался стук в дверь. Начальник вздрогнул. Хотя все внимательно вслушивались в тишину, никто не слышал, как он взойшел на веранду.

– Входи, входи! – крикнула Софичка, опомнившись.

Дверь распахнулась, и Шамиль оказался в дверях. В одной руке он держал автомат. Он внимательно оглядел кухню и вошел. Начальник НКВД и председатель колхоза встали навстречу.

– Хороших вам трудов, – сказал Шамиль по-абхазски, протягивая руку председателю. Это прозвучало как насмешка, учитывая, что так здороваются с крестьянами, когда те работают.

– Здравствуй, Шамиль! – крикнул председатель, как бы заглушая насмешку, прозвучавшую в приветствии Шамиля.

Он громко хлопнул ладонью протянутую руку Шамиля. Шамиль и начальник НКВД сдержанно поздоровались за руку.

– Совсем в лесу одичал! – опять громко крикнул председатель, панибратствуя от волнения.

– Одичаешь, – сдержанно согласился Шамиль, и на мгновение установилась неловкая тишина.

– Давайте за стол! За стол! – крикнул председатель, нервно потирая руки и, словно гостеприимный хозяин, подталкивая Шамиля и начальника к столу.

Уселись. Шамиль и начальник друг против друга. Шамиль прислонил автомат к стене за своим стулом. Софичка разлила по блюдецкам ореховую подливу. Председатель колхоза с нервной поспешностью разлил чачу по рюмкам.

– За удачу вашей встречи, – по-русски сказал председатель, – за то, чтобы все окончилось хорошо: для нашей власти, для нашего колхоза, для всех!

– Аминь! – подхватила Софичка с удовольствием.

Все выпили и принялись за еду. Шамиль, сдержанно и спокойно, во всяком случае внешне, председатель суетливо и быстро, а начальник неохотно, но стараясь скрыть это.

Он очень волновался. Автомат, прислоненный к стене за спиной Шамиля, явно мешал ему. Но он все же был уверен, что сумеет провести беседу так, как это нужно. Да, если все получится, как надо, он уже знал в глубине сознания, что никогда не простит унижительную дрожь в ногах в ожидании этого дезертира и даже этот автомат, нагло прислоненный к стене за его спиной, никогда не простит.

После третьей рюмки заговорили о деле. Софичка стояла спиной к очагу и лицом к свету, внимательно слушая начальника. Начальник, естественно, говорил по-русски, и Софичка слегка напряглась, чтобы уловить смысл его речи. Она не все слова понимала по-русски.

Сначала начальник сказал, что сейчас страна ведет тяжелую борьбу с врагом и каждый должен сделать все, что может, для победы родины. Софичка это легко поняла, потому что то же самое им говорили и в колхозе.

Потом начальник сказал, что по агентурным сведениям, которые они имеют, он хорошо сражался на Клухорском перевале, и это ему будет зачтено. Но самое главное, настаивал начальник, он должен во что бы то ни стало заставить диверсантов сдаться. Он должен передать их в НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми.

«Что же Шамиль не говорит, что эти диверсанты совсем не лемцы, а наши ребята», – думала Софичка, все сильнее и сильнее волнуясь. Она думала, что начальник обязательно смягчится, узнав об этом.

Наконец Шамиль сказал, что один из этих ребят армянин из села Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Начальник спросил у него их имена и фамилии и записал себе в маленькую книжечку.

По наблюдению Софички, начальник несколько не смягчился, узнав, что диверсанты – местные ребята. Он несколько раз повторял, что Шамиль должен передать их в руки НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми. И тогда он может твердо обещать, что суд над ним ограничится отправкой его на фронт в штрафной батальон. На свой страх и риск начальник обещает его, если он честно выполнит условия договора, на неделю оставить дома. На неделю – не больше. Это он обещает твердо. Пусть увидится с женой и детьми. Это был тонкий ход, по мнению начальника, снимающий подозрения, что он знает, что Шамиль виделся с женой.

– Что будет с этими ребятами, – глухо спросил Шамиль, – их не расстреляют?

– Если выяснится, как ты говоришь, что они ничего плохого не сделали, – отвечал начальник твердо, – их незачем расстреливать. Их будут судить, и каждый получит срок в зависимости от своей вины. Только помни: они – твоя плата за свободу. Иначе ничего не могу обещать. Я обещаю только то, что могу.

Чугунейя лицом, Шамиль кивнул в знак согласия. Через полчаса начальник НКВД и председатель колхоза вышли из дома и, освещая себе путь карманным фонариком, открыли ворота и поднялись на верхнечегемскую дорогу. И пока они не вышли на нее, начальник НКВД испытывал предательскую дрожь в ногах, боясь, что товарищи Шамиля ждут их в засаде.

Проводив гостей до ворот, Софичка вернулась на кухню. Шамиль сидел у огня, глубоко задумавшись.

– А они захотят выйти из лесу? – спросила Софичка.

– Нет, – сказал Шамиль, мрачно глядя в огонь.

– Так что же будет? – спросила Софичка в ужасе, приложив ладони к щекам и глядя на Шамиля своими темными лучистыми глазами.

– Ничего хорошего не будет, – сказал он, вздохнув. – Но, видно, такая моя судьба. Дай мне веревок...

Чувствуя что-то недоброе, Софичка вынесла из кладовки моток веревки. Расстегнув рубашку, он мрачно перепоясал тело веревкой, потом застегнулся, перекинул автомат через плечо, накинул бурку и обернулся в дверях:

– Что бы ни случилось, Софичка, запомни: ты меня никогда не видела до того, как я пришел сдаваться. Запомни: что бы тебе ни говорили, ты меня никогда не видела. Ты не знаешь, кто убил бригадира. И это запомни.

Он вышел из дома, и бурка его быстро растворилась в черноте ночи. Софичка долго стояла на веранде, прислушиваясь к тревожной тишине ночи. «Господи, – думала она, – сохрани наших близких – и тех, кто на фронте, и тех, что мучаются здесь».

На следующий день рано утром недалеко друг от друга на нижнечегемской дороге нашли двух связанных по рукам и ногам людей. Это были диверсанты, сброшенные полгода назад на парашютах. В тот же день утром Шамиль явился в правление колхоза и сдал три автомата, два пистолета и радиоаппаратуру. Диверсантов вместе с оружием и аппаратурой отправили в кенгурский НКВД.

На следующий день оттуда явились несколько чекистов и, прихватив председателя колхоза, пошли искать место стоянки Шамиля и этих диверсантов.

Диверсанты уже указали приметы места своей стоянки. Стоянку легко нашли, но то, что искали чекисты, исчезло. Они искали предметы домашней утвари, по которой можно было бы определить, с кем был связан Шамиль, когда был в лесу. Но ничего, что могло быть домашней утварью, в шалаше не оказалось. Шамиль тщательно, перед тем как идти в правление колхоза, все это вынес из шалаша и забросил в самые непроходимые дебри.

Диверсанты уже сознались во всем, озлобленные предательством Шамиля. Но они и сами не знали, к кому он время от времени ходил. Он этого даже им не сказал. Но то, что у них было кое-что из еды, добытой помимо охоты, и кое-какая утварь, они сказали.

Начальник НКВД тщательно готовил дело на Шамиля. Сильнейшим козырем у него была неопровержимость крестьянской одежды, в которой он явился на переговоры. Кто ее ему дал? Жена? Софичка? Или еще сложнее – может быть, убитый им бригадир? Начальник кенгурского НКВД почти был уверен, что бригадира убил Шамиль. По-видимому, он был связан с бригадиром. Вероятнее всего, в какой-то период их связи Шамиль попросил его оказать ему какую-то услугу, показавшуюся тому слишком рискованной.

Бригадир, наверное, отказался. Шамиль, наверное, ему чем-то пригрозил. А в ответ бригадир, как дурак, вероятно, сказал, что донесет на него. Сейчас начальник был уверен, что бригадир сказал такое. Отсюда и жестокий способ казни – убийство и вырванный язык.

Была полная возможность при умелом ведении дела подвести Шамиля под расстрел. Теперь, когда диверсанты были у него в руках, руки его были свободны. Ни к чему человек так не злопамятен, как к собственной трусости. Шамиль, который даже и не заметил его трусости, в глазах начальника был ее единственным свидетелем. Источник трусости невольно становился и свидетелем трусости. Свидетеля надо было убрать раз и навсегда. Однако Шамиль совершенно неожиданным поступком несколько осложнил планы начальника. С тех пор как он пришел в собственный дом, он не только не почувствовал облегчения, но по-настоящему только сейчас почувствовал непомерную, невыносимую тяжесть содеянного греха.

Особенно его потрясло, что отец, хотя и не говорил ему ничего, но каждый раз, случайно встретившись с ним глазами, он, старый Хасан, как-то виновато и робко отводил глаза. «Отец не может скрыть и не может вынести безразличия к собственному сыну», – думал он.

Три дня он беспробудно пил и никак не мог до конца осознать смысл той закономерности, которая его преследовала.

Пытаясь спастись от ужаса войны и голода, он дезертировал и бежал с перевала. В лесу он испытал страшное одиночество и ежедневное ожидание смерти, как загнанный зверь. Пытаясь спасти близких от неминуемой кары за свое дезертирство, он предал доверившихся ему людей. И теперь отец не может посмотреть ему в глаза, и в лучшем случае его ждет фронт, откуда он сбежал и натворил столько бед. Зачем же было бежать с фронта? И как это он, пытаясь скинуть одни путы, попадал в другие, еще более невыносимые? И он понял, что никакой чачей не спасет себя от тоски, не спасет себя от взгляда отца, опущенного от стыда, и он понял, что его спасет.

На четвертый день он зарядил свое охотничье ружье медвежьим жаканом, снял ботинок и носок с правой ноги, сунул в рот ствол и вдруг в последний миг вспомнил, что недосказал Софичке одну важную вещь. Вспомнил, что недосказал, но не мог вспомнить, что именно. И, словно досадуя на себя за эту дополнительную невезучесть, снова схватил зубами конец ствола и нажал большим пальцем ноги на спусковой крючок. Медвежий заряд вместе с кусками мозга, влипавшими в стену, вырвал из него невыносимую тоску. Звук выстрела почти слился с криком из кухни обезумевшей от догадки матери. Так что же он хотел сказать Софичке перед смертью, но так и не вспомнил? Он хотел ей сказать, что если чекисты спросят, откуда у Шамиля взялась крестьянская одежда, она должна отвечать, что по дороге с фронта он раздел какого-то путника и, кинув ему свою военную форму, взял его одежду.

Все дни после смерти Шамиля Софичка жила у родителей мужа, стараясь их утешить и прислуживая за поминальными столами.

Через неделю она вернулась домой. В первые дни, проходя за водой на родник, она не осмеливалась подойти к могиле мужа, страшась рассказать ему о случившемся, как страшатся тяжелобольному рассказать трагическую новость. Хотя она своим верующим сердцем понимала, что эта весть до него и так должна дойти оттуда, но ей отсюда говорить ему об этом было еще очень больно. И она с кувшином на плече, не облегченным разговором с мужем, проходила мимо могилы, украдкой бросив на нее взгляд.

Через несколько дней Софичку и вдову Шамиля забрали в кенгурский НКВД.

* * *

В кабинете, светлом, как бы освещенном нежным колхидским снегом, покрывающим кроны лавровых деревьев, почти заглядывающих в окна, сидели четверо.

Следователь НКВД, плакатно-красивый блондин, напротив него Софичка, справа от Софички переводчик-абхазец, а слева как бы интересующийся ходом дела работник органов. На самом деле сидевший слева следил, насколько правильно переводчик-абхазец переводит слова Софички на русский язык.

Этот работник органов по отцу был грузином, а по матери абхазцем и потому знал абхазский язык, что работниками кенгурских органов держалось под большим секретом.

Абхазцам, даже работающим в органах, не вполне доверяли и считали возможным, что переводчик будет всячески выгораживать своих абхазцев. Считалось, что, во-первых, такая проверка покажет степень честности этого переводчика. Он недавно после фронтового ранения вернулся домой и был принят в органы как человек, показавший себя бесстрашным и беспощадным с врагами на фронте. А во-вторых, если он в процессе перевода и разговора с этой блаженной женщиной будет выгораживать ее – прекрасно. В таком случае не исключено, что она проникнется к нему доверием и именно ему кое о чем проболтается. Все это было хитроумной, как он сам полагал, выдумкой начальника кенгурского НКВД.

Однако переводчик с первого же раза понял предназначение этого свидетеля допроса, ибо в наиболее сложных по психологическому смыслу местах лицо его невольно напрягалось, и было ясно, что он знает язык.

После вопроса следователя Софичка, почти всегда понимая его, стремилась прямо начать ответ, но следователь ее останавливал, заставляя вопрос переводить на абхазский язык, а потом ждал, когда переводчик передаст ему ответ Софички. Софичка считала, что они это так делают, потому что принимают ее за дурочку, которая запутается, начав говорить по-русски. Но ведь она могла в трудных местах обращаться за помощью к этому парню? Ведь так пошло бы все быстрее.

Когда время от времени замолкали сидящие за столом, раздавался неутомный щебет воробьев, копошившихся в кронах лавровых деревьев, покрытых робким субтропическим снегом.

Третий день Софичку вызывали на допрос. Третий день от нее ничего не могли узнать. Софичку и жену Шамиля взяли по поводу неожиданного сообщения чегемского осведомителя. Он сообщил, что один из жителей Чегема вспомнил, как однажды бригадир ему сказал, что Софичка видится со своим двоюродным братом Чункой, бежавшим с фронта.

Именно в связи с этим сейчас взяли Софичку. У начальника теперь возникла новая версия убийства бригадира. Хотя до этого он был почти уверен, что бригадира убил Шамиль, но тот, покончив жизнь самоубийством, навсегда дезертировал от расстрела. И такая великолепная улика, как труп бригадира, пропадала без пользы для дальнейшего следствия. И чтобы этого не случилось, чтобы труп бригадира не пропал для следствия, он, однако сам этого не осознавая, не поленился перетащить труп (благо безязыкий) в новое дело. Теперь он был уверен, что бригадира убил Чунка как самый лихой парень Чегема. Но почему покойный бригадир связал Чунку с Софичкой, было не вполне ясно. Скорее всего, он случайно увидел Чунку, входящего или выходящего из дома Софички. Почему тот решил его казнить как доносчика? Скорее всего потому, что он грозил доносом. Оба дураки. Ведь истинный доносчик никогда не станет грозить доносом. Значит, бригадир что-то вымогал. Но у кого он мог что-то вымогать? Не у старого Хабуга или Кязыма? Маловероятно. Не у самого же дезертира? Совсем невероятно. Значит, у самой Софички. Что может вымогать похотливый человек у молоденькой вдовушки? Ясно что. Тут начальник действительно подошел к тому, что было, но бедный Чунка, дотлевавший в белорусских лесах, тут был ни при чем.

Значит, она пожаловалась Чунке, скорее всего, чтобы тот припугнул бригадира. А тот по широко известной горячности своего характера убил его.

Но именно потому, что Чунка сейчас живой и прячется где-то в лесу, надо вести допрос так, как будто органы уверены, что бригадира убил теперь мертвый Шамиль. «Подлец, – думал о нем начальник, – переиграл меня, покончив жизнь самоубийством». Значит, надо все свалить на Шамиля, и тогда такая версия облегчит признание Софички. Ведь одно дело просто дезертировать, а другое дело – дезертирство и убийство.

И допрос он вел по такому сюжету: как можно меньше касаться связи Софички с Шамилем, а давить и давить на признание по поводу Чунки. Любой ценой добиться этого признания. Всю вину за связь с дезертиром Шамилем сконцентрировать на жене.

Это даст возможность потом, если сейчас не удастся добиться у Софички признания, выпустить ее и неуклонной слежкой рано или поздно поймать ее двоюродного брата. Была уверенность, что Чунка ни за что не обратился бы к собственной сестре, живущей в одном дворе с Большим Домом, потому что вокруг него нет леса и в Большом Доме всегда много чужих людей. А Софичка живет в одиночестве, и сразу за изгородью ее усадьбы начинается лес.

Софичка, помня наставление Шамиля, сначала держалась просто и твердо. Она все отрицала. Но когда следователь осторожно стал намекать на домогательства бригадира, она внутренне растерялась от стыдности этого разговора и похожести на правду того, что говорил сле-

дователь. И как только у нее мелькнула страшная догадка, что они все знают и только, издеваясь над ней, не все ей говорят, следователь почувствовал ее смущение и решил, что пришло время прямо заговорить о Чунке.

Тут Софичка поняла, что они ничего не знают точно: ни об убийстве бригадира, ни о том, что Шамиль много раз заходил к ней.

Чувствуя, что следователь теряет терпение, переводчик-абхазец не выдержал и стал укорять Софичку в бессмысленности ее запирательства. Он был новичком в органах. Об истинном положении вещей он сам знал не больше того, что говорил следователь, и поэтому считал, что у органов есть основания верить словам бригадира.

– Подумай сама, – говорил он, стараясь вразумить ее и помочь ей, – кто поверит, что бригадир не видел Чунку, а просто выдумал это? Что он, сумасшедший? Пойми ты, глупая, что твой двоюродный брат никуда не денется. Рано или поздно ему придется сдаваться или его убьют. И чем раньше он сдастся, тем лучше для всех. Если он сдастся сейчас, его скорее всего отправят на фронт, и там он...

Переводчик переводчика внимательно слушал его, стараясь уловить в его словах вредное направление. Он не хотел ему зла, но логика его труда заключалась в том, чтобы он находил в работе переводчика искривление работы следствия, иначе становилась слишком явной ненужность его работы. Так устроен человек. Однажды примирившись с противоестественностью своего труда, он поневоле начинает искать оправдание ему, создавая для себя столь необходимую для человека иллюзию его нужности.

– ...Его скорее всего отправят на фронт, и там он, – продолжал переводчик, – кровью смоем свой позор... Ведь он клятву давал Родине быть честным солдатом. Он нарушил клятву, он клятвопреступник.

– Да? Клятву?! – неожиданно вспыхнула Софичка. – Знаю я, что солдат дает клятву, не такая я глупая. Но разве государство тоже не дает клятву, когда берет солдата, исправно кормить его? А Шамиль что рассказывал? Их по три-четыре дня не кормили на перевале. Солдаты между боями чернику и ежевику собирали, как дети. Это же смех! Если ты нанимаешь работника, он должен честно работать, но и ты его должен честно кормить... А если ты его перестал кормить, он бросает мотыгу и уходит! Так-то!

– Перестань болтать глупости! – вспыхнул в ответ переводчик. – Ты, видно, не знаешь, где находишься! Кормили – не кормили! Это не твоего ума дело! Мы тут с тобой третий день мучаемся, а ты уперлась, как ослица! Это плохо кончится – предупреждаю тебя. Твой следователь и так проявил к тебе много терпения!

– Вот и целуйся с ним, – отвечала Софичка, – бедный Чунка с начала войны не пишет! Дай бог, чтоб он был жив! Но я не знаю, где он!

– Что она говорит? – наконец спросил следователь, терпеливо ждавший, что переводчику, может быть, удалось что-нибудь выудить у нее.

– Все те же глупости, – ответил переводчик, несколько омрачаясь, – Шамиль, мол, бежал с перевала, потому что плохо кормили, а Чунку с тех пор, как его взяли в армию, она в глаза не видела.

Тайный переводчик переводчика, вслушиваясь в его перевод, отметил: не сказал о том, что она сказала, мол, солдаты питались ежевикой. Одно дело – солдат плохо кормили. Другое дело – солдаты, как дети, собирали ежевику и чернику. Конечно, мелочь, но все же налицо с ее стороны издевательство над армией, а он это не отметил в своем переводе.

– Вот что, – вдруг окаменев лицом, сказал красавец следователь, – кончилось мое терпение. Скажи ей, пусть разуется.

Софичка поняла его слова и растерялась.

– Он что, сказал, чтобы я разулась? – спросила она по-абхазски.

– Да, – кивнул переводчик, мрачней. Он сам еще не знал, что собирается делать следователь, но ничего хорошего не ожидал.

– Чем ему мешают мои туфли? – спросила Софичка.

– Сними, – буркнул переводчик, – я тебя тысячу раз предупреждал...

– Он, наверное, сдурел, – сказала Софичка, – вон какой откормленный, помахал бы мотыгой...

Она сняла туфли.

Переводчик переводчика, помешкав, отметил про себя, что переводчик не перевел оскорбление следователя.

– Встань, – сказал следователь, уже прямо обращаясь к Софичке.

Софичка встала. Она стояла перед ним, маленькая, стройная, крепкая, лучеглазая. Она стояла в сером свитере домашней вязки, в черном пиджаке и черной юбке и в толстых белых носках, надетых поверх чулок.

– Сними носки, – приказал следователь.

– Совсем спятил, – сказала Софичка по-абхазски.

Она сняла носки и сложила каждый носок в туфель. Взяв в руку коробку с кнопками, следователь вышел из-за стола и, взяв другой рукой Софичку за руку, отвел ее в угол комнаты, как учитель нерадивую ученицу.

– Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет, – пробормотала Софичка.

Ссыпав на ладонь горсть кнопок, он положил их на пол. Потом, ссыпав на ладонь еще горсть кнопок, положил в полуметре от первой горсти.

– Он что, поставить меня на них хочет?! – вскричала Софичка, догадавшись, в чем дело, и оборачиваясь к переводчику-абхазцу. Теперь язык был последней тонкой нитью, связывающей ее с надеждой на защиту. И тот это понял и, потемнев лицом, промолчал. Он подумал, что лучше бы снова добровольцем отправился на фронт, чем поступать сюда работать.

Переводчик переводчика заметил, что переводчик с абхазского изменился в лице, и постарался это запомнить. Но то, что он сам изменился точно так же в лице, этого он не мог заметить. Оба они такую пытку видели в первый раз. Видели, как гасят окурки о лицо, видели, как ставят босыми ногами на кукурузные зерна (очень болезненно, если долго стоять), но такого оба не видели.

Следователь слегка подталкивал Софичку в спину, чтобы она шагнула на кнопки, но она, не переступая, обернулась на переводчика-абхазца, всем страхом, всем недоумением, всей надеждой, всей лучеглазостью обратилась к нему:

– Что ж это он со мной делает?! Ты что, не видишь?

– Я же тебе говорил, дура, сознайся! – хлопотнул переводчик.

И Софичка поняла, что здесь нет ни языка, ни крови и не будет ей помощи ни от кого. И вспыхнула в ней гордость.

– Я женщина, я не могу драться с мужчиной, – вымолвила она с горестным сарказмом, – а ты ходи по миру! Считай себя мужчиной!

Она ступила левой ногой в хрустнувшую горстку кнопок, стараясь основную тяжесть тела удерживать на правой ноге, и, выждав мгновение, когда нога как бы привыкла, как бы смирилась с болью, ступила на кнопки и правой ногой. Боль ошпарила обе ее ноги, словно на них плеснули кипятком.

Через несколько мгновений боль притупилась и стала горячей и тяжелой. Софичка почувствовала, что главное – застыть и не шевелиться, чтобы новые кнопки не вонзились в ступни, и дышать как можно тише. Так Софичке казалось, что боль не будет вкалываться в нее новыми когтями.

– Некоторые о классовой борьбе любят читать в учебниках, – горестно сказал красавец следователь, возвращаясь на свое место, – но боятся смотреть на диалектику в ее натуральном виде.

Он сел и с мрачным видом посмотрел на обоих переводчиков. Те молчали. В тишине слышалось, как за окном на лавровых деревьях, разбрызгивая нежный снег, гомонят воробы. Софичка внимательно сквозь тяжелую, горячую боль вслушивалась в слова следователя, думая, что он сейчас обязательно объяснит причину своей жестокости. Она была уверена, что он сейчас, поставив ее на конторские гвозди, не может не объяснить причину своей безумной жестокости. Но, к своему удивлению, она ни одного слова не поняла из того, что следователь сказал. Ей показалось, что он говорит по-русски, но, чтобы она ничего не поняла из того, что говорят по-русски, такого никогда не бывало. Такого никогда не бывало ни в городе на базаре, ни в разговорах с бойцами рабочего батальона, ни с людьми, забредавшими в Чегем, чтобы обменять вещи на кукурузу.

От боли, от лихорадочного страдания, от непонимания, почему это с ней сделали, что-то в голове у Софички вспыхнуло, она вспомнила фильмы, которые изредка привозили в сельсовет, и, обернувшись к переводчику-абхазцу, крикнула:

– Это лемец!

– Кто? – не понял он.

– Этот, что поставил меня на конторские гвозди!

– Брось, ради бога! – воскликнул тот, чувствуя, что эта женщина своими наивными предположениями, сама того не желая, усугубляет свою вину.

«Надо было проситься на фронт», – тоскливо подумал он. Ранение освобождало его от воинской повинности, но, если бы он пожелал добровольно идти в армию, его бы взяли.

– Что она сказала? – спросил следователь.

– Глупости, – пожал плечами переводчик, – она говорит, что вы немец.

– Немец, – повторил следователь обиженно и взглянул на Софичку, – немец тебе показал бы...

Ему представилось, как немец ставит ее на кнопки, аккуратно шляпкой вниз повернув каждую кнопку. А ведь он просто сыпанул кнопки на пол, и половина из них стояла шляпкой вверх и не могла вонзиться ей в ноги, но он махнул рукой на это. И вот тебе благодарность: немец!

Зазвонил телефон. Следователь взял трубку.

– Да, стоит, – сказал он. – Нет, чертовка, – добавил он, – молчит, как партизанка... Есть, есть, ждем, – гостеприимно сказал он и положил трубку.

Софичка не помнила, сколько времени она еще стояла. Иногда сквозь горячую боль, поднимаящуюся к коленям, врвался в ее сознание щебет воробьев. Она никак не могла взять в толк, как могут щебетать воробьи, когда с ней делают такое. Ее уже лихорадило.

– Пусть подойдет, – сказал следователь, кивая переводчику.

– Сойди, – подхватил переводчик по-абхазски и облегченно вздохнул.

– Насытились, – сказала Софичка, всех троих объединяя еще более лучистым, теперь лихорадочным взглядом.

Она приподняла одну ногу, ударом боли почувствовав, как мгновенно глубже вонзились кнопки во второй ноге. Сошла.

Ее лихорадило все больше и больше. Она нагнулась и, приподняв ногу, вынула из окровавленной подошвы две кнопки и отбросила их. На подошве второй ноги застряло четыре кнопки, и, вынимая последнюю, она порвала чулок и огорчилась своей неосторожной поспешности.

– Пусть подойдет и сядет, – сказал следователь.

Софичка подошла к своему стулу и села. Ее лихорадило.

– Может надеть носки и туфли, – сказал следователь.

Софичка из телефонного разговора поняла, что кто-то должен прийти.

– Хочет, чтоб не видно было крови, – усмехнулась Софичка и стала надевать на ноги шерстяные носки.

Софичке подумалось, что следователь хочет скрыть то, что он сделал, от человека, который должен войти. Она думала, что сам следователь или эти его люди сейчас соберут конторские гвозди и спрячут. Но они почему-то этого не делали. И она не могла понять, радоваться этому или ужасаться. Если они забыли убрать конторские гвозди – это хорошо, она покажет, что ее, женщину, лучшую колхозницу села Чегем, поставили на них. И тогда им всем не поздоровится. А если здесь всех принято ставить на конторские гвозди, тогда что делать? «Не может быть, – думала Софичка, – не может быть! Этот следователь лемец, шпион – таких в кино показывали!»

В самом деле открылась дверь, и вошел высокий плотный человек. Софичка мгновенно узнала в нем того начальника, который когда-то приходил к ней домой встречаться с Шамилем. Еще сама не осознавая ее причины, Софичка почувствовала волну стыда, ударившую ей в голову, и она мгновенно отвернулась от начальника и опустила голову.

От начальника не укрылся этот ее жест стыда, и он решил, что она стесняется перед ним из-за своих ложных показаний. Все-таки есть в этих дикарях какая-то своеобразная совесть. И он решил сыграть на этом.

– Здравствуй, старая знакомая, – с улыбкой сказал он, подходя к ней.

Софичка преодолела стыд и подняла голову.

– Это лемец, – сказала Софичка, кивая на следователя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.